

К 1438 258

Владимир Кудрявцев

ГРАД КИТЕЖ



МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



Вологда

2007



*Михаил Копьев.
Портрет Владимира Валентиновича Кудрявцева*

Владимир Кудрявцев

ГРАД КИТЕЖ

**ЛИРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
О ДЕТСТВЕ**

**Вологда
«Книжное наследие»
2007**

Редактор — С. А. Тихомиров

Художник — А. Н. Башкиров

Ответственный за выпуск — Р. П. Биланчук

Кудрявцев В. В.

К 88 Град Китеж: Лирические рассказы о детстве / Предисл. А. А. Грязева; Худож. А. Н. Башкиров. — Вологда: «Книжное наследие», 2007. — 168 с.: ил.

Владимир Кудрявцев – автор восьми поэтических сборников. Это его первый опыт в прозе. На страницах книги автор делится воспоминаниями о своем детстве, прошедшем в маленькой костромской деревне на родине Ивана Сусанина. Герои его рассказов – сверстники и односельчане. Книга посвящается им и их потомкам.

© Кудрявцев В. В., 2007.

© Башкиров А. Н., 2007.

© Вологодская областная
универсальная научная
библиотека, издательство
«Книжное наследие», 2007.

*Посвящается внукам —
Кириллу и Лидии*

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Книгу Владимира Кудрявцева «Град Китеж: Лирические рассказы о детстве» я прочитал с радостью.

Это чувство не покидало меня с первых ее страниц и до последних, написанных автором своих детских воспоминаний, где каждая глава — маленькая лирическая новелла о далеких и милых каждому человеку годах детства.

Читая эти новеллы, я и сам невольно переносился в свое детство, переживая заново, как и герой рассказов, и светлый день рождения и страх перед неведомой темной овиной.

Удивительно, как точна в деталях память Владимира Кудрявцева, но замечательно, что помимо деталей она наполняет воспоминания романтическим отношением к эпизодам того благодатного возраста, когда человек еще только начинает осознавать себя в окружающем мире, в который он явился, чтобы жить в нем и чувствовать его.

Но детство — это еще и настоящие «университеты» жизни, где человек получает первые знания истории родной земли, на которой он живет, когда дед Михаил рассказывает внуку о его земляке Иване Сусанине или зимним вечером учит его щипать шерсть для валенок, бить шерсть в бане, давая практические уроки крестьянского труда.

Обо всем этом и о многом другом написано хорошим русским языком.

Чувствуется, что писал рассказы поэт, лирично и образно описывая окружающую его в детстве природу: окрестный лес, подснежники или водополь.

Вот, например, как описано первое свидание с большим лесом в рассказе «Лесное эхо»:

«Надо мной гудели мощные кроны и там, где они переплетались, образуя над головой крышу из темных еловых

лап и серебристых листьев, неясно сквозил спокойный неземной свет...»

Также зримо описание июньского вечера, радуги и неведомого Залесья в рассказе «Страна Залесье» или раннего зимнего утра в новелле «Бабушка».

С большой любовью и «памятью сердца» Владимир Кудрявцев рассказывает в своих новеллах о дедушке Михаиле и бабушке Анне — этих великих и простых русских тружениках и заботниках, справедливо и точно замечая: «Я смотрел на бабушку и жалел ее. Я не видел, когда она отдыхала».

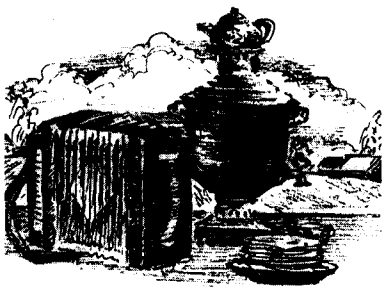
О, сколько людей может сказать так же о своих дедах и бабушках!

А рядом с ними автор дает портреты своих друзей детства, деревенских соседей и других своих земляком, воссоздавая детской памятью их судьбы и характеры.

О книге лирических рассказов из детства Владимира Кудрявцева еще много можно говорить, но лучшие ее прочитать.

Говорят, что человека никогда не перестанут волновать необратимые явления жизни. Наверно, потому-то и испытываешь светлую грусть при расставании с книгой «Град Китеж», чего я желаю всем, кто будет ее читать.

Александр Грязев



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Весь этот год я буду жить в деревне. Папа учится в Иванове. Мама уехала к нему и там устроилась на работу.

Сегодня мне исполняется семь лет. Бабушка с утра печет пироги.

Я и впрямь чувствую себя гораздо старше, чем был вчера. Подошел к косяку и замерял рост. Край ладошки чуть выше прежней метки, сделанной дедом в начале лета. Чиркнул по краске ногтем и сходил на кухню за ножиком, чтобы сделать новую зарубку.

— Растешь, внучек, растешь, дорогой, — говорит бабушка, застав меня за этим занятием. — Вот ума бы еще Бог дал. Через год в школу.

Вернулся из бани дед, положил на край печки валенки и подошел ко мне.

Дюдь, смотри, насколько я подрос, — подзываю его к косяку. — Вот, видишь, где твоя старая метка, а это уже новая. Я сам вырезал.

Дед улыбнулся:

— А ну-ка, вставай, сейчас проверим, — он снова прислонил меня к косяку, положил на голову еще мокрую от стирки руку и так поднажал ею, что у меня хрустнули на шее позвонки. — Не на цыпочках? То-то ли... А ну, выходи. Так, — наклоняется и смотрит под широкую ладонь, потом

кричит бабушке на кухню. — Мать, и верно вырос. Не зря, знать, кашу по утрам ест. Какой подарок ждешь?

— Резиновые сапоги, — не задумываясь, выпалил я.

— Сапоги — дело наживное, но не первое, зима на носу. В валенках бегать будешь, — отшутился дед. — А на будущий год избу новую срубим. Вот это будет подарок так подарок. Вокурат к школе и поставим. Хочешь в новой избе пожить?

По правде сказать, мне и в старой было хорошо. Я к ней привык. А новую избу, которая уже два года стоит у пруда в срубах, я даже и представить не мог, какой она будет.

— Что молчишь? — не отступался дед. — Без сапог не останешься, справим как-нибудь, а думать наперед надо. Иначе и сапоги не помогут. И в них с дороги собьешься, и в глине завязнешь.

Я, конечно, из-за сапог расстроился. У Кольки есть, а у меня нет, но виду не подаю и согласно киваю деду головой. Дескать, так и быть, потерплю до школы, но ведь и без них тоже весной не обойтись.

— А сапоги справим — не горюй, — успокаивает дед. — Пока же вот — держи, — и, нагнувшись, он вытащил из-под кровати железную машинку.

От радости я даже подпрыгнул, схватил ее и стал рассматривать. Такая же точно, как и у Кольки, зеленого цвета. Нет, не совсем — лучше! У меня самосвал. И кузов поднимается. Даже на колесах есть резиновые шины, как у настоящей. Вот здорово!

Я покатал ее по полу. Не гремит. Загрузил в кузов бабушкины клубки цветных ниток и повез их к бумажному коробу у дивана. Вот так машинка. О такой я и не мечтал. А сапоги к школе все равно купят. Не в старых же пойду в первый класс.

— Вовульк, — слышу из-за печки голос деда, — ты гостей-то позвал? Скоро у бабки пироги упекутся.

— Нет, — виновато сознался я.

— Так, беги, созывай, а мы с бабушкой пока стол приготовим.

— И девчонок звать?

— И девчонок зови. Всех зови, кого хочешь. Пирогов и конфет на всех хватит.

Дед подтянул на часах коричневые гири. Тяжелые, они поочередно и нехотя подползли почти к самому маятнику, а свободная цепочка, как муха, зацокала о синюю заборку.

Я надеваю в кути на глазах у деда старые резиновые сапоги с заплаткой на правом носке, застегиваю пальто и, ежась, выхожу на улицу.

Ну и денек нынче выдался! Растрепанные тучи свисают с низкого неба рваными клочьями и едва не касаются черных пропитанных водой крыш. Дождь сеется мелкий, как роса, только противный и липкий. Ветер по заулку мечется, как угорелый.

Угроздило же меня родиться в такое время, когда цветы на клумбах обугливаются от инея и от влаги закисают, а на голых сквозных кронах трепещутся на ветру последние обессиленные листочки непонятно какой раскраски.

Под окнами лежит уже не взбитая ветром сухая и пыльная перина из вороха разноцветных листьев, а валяется полинялое и преющее под дождем затоптанное лоскутное одеяло.

Как-то разом и точно к моему дню рождения облетели у дома все наши деревья. Качаются кисейные пряди березы и корчатся корявые сучья тополя, топорщатся короткие ветки рябины и жмутся к палисаднику шелудивые плети взъерошенной акации.

Только на черемухе еще дрожат зеленоватые листья, но и те свернулись, как поджаренные ракушки с опаленными черными краями.

Голо и сыро. На помойке грязная ворона потрошит размокшую корку ржавого хлеба.

Зябкие воробышки сидят рядом на заплаканных про-

водах и одергивают короткие крылышки, чтобы прикрыть от ветра взъерошенные бока.

Зябко и мне. Прячу шею в ворсистом воротнике и шмыгаю мокрым носом.

Но это сегодня так, а в погожий день наша деревня совсем другая — уютная и светлая.

Она, если смотреть на нее с сумароковской горы, похожа на стадо, которое мирно пасется на макушке приземистого холма.

Избы уткнулись носами в кроны деревьев, а их серые крышки виднеются из-под них, будто коровьи хребты.

По-за огородами и садами, как овцы, стоят амбары да игрушечные баньки.

В деревне два порядка, а на них и всего-то пятнадцать изб.

Я живу в крайней вверху, а Колька — внизу.

Внизу жить лучше. У Кольки от крыльца, как на ладони, и низина между холмами, и речка с вечно разбитым мостом, а из наших окон виден только лес, за которым уже нет никаких деревень. Край света...

Иду по деревенской улице и думаю, кого пригласить на день рождения, а кого нет.

Всех девчонок, конечно, звать не буду. Приглашу только Ленку Семичеву и Тamarку Мошкову. Ну, Кольку, само собой. Гланьку-бузу звать не буду. Она уже ходит в школу и с нами гуляет редко. Да и не нравится она мне. Галька Цветкова еще маленькая. Ей всего три года, хотя за нами по деревне таскается, как хвост. Кого еще? Вальку Каюрову. Чуть не забыл. С ней мы иногда играем в фантики. У нее их очень много и все любовно сложены в красивые коробки из-под конфет. Вот и все. Теперь можно идти по домам.

С кого начать? Пойду снизу — от Каюровых.

У Каюровых изба большая. На окнах пестрят узорные красно-синие наличники, как павлиньи перья. Она смотрит

на дорогу и на всех, кто по ней проходит, и смотрит, как будто свысока. Крыльцо тоже с крутыми ступеньками. Пока идешь, не один раз порогу поклонисься.

Рядом на бугре стоит не изба, а избенка Осиповых. Хотя и стоит она на холме чуть выше, а все равно кажется ниже каюровского дома, потому что старое крылечко давно покосилось, а два-три самых толстых венца уже вросли в землю. Так что и окна у нее уткнулись взглядом не в дорогу, а в тропинку под ними.

Здесь живет мой друг Колька.

Следующий по этому порядку дом Мошковых.

Он состоит из двух соединенных изб и всегда напоминает мне петухов, стоящих задом друг к другу.

А петухи похожи на своих хозяек — двух родных сестер.

Потому один из них худой и обтрепанный, тот, у которого хозяйка Ермиловна, а другой, который кормится у Груни, — тостогрудый и с широкой спиной.

Так и представляю, как, закипая злостью, поцарапают они сейчас когтистыми лапами землю, гребешками грязными потрясут грозно, шпорами поскребут и разбегутся перед дракой в разные стороны.

В той избе, что окнами на дорогу, у Ермиловны и живет Тамарка. Она тоже задиристая. Отец у нее сидит в тюрьме.

Гланькин дом прохожу мимо. Он нахохлился, как испуганный, и дрожит с серыми полузакрытыми ставнями на окнах, но дальше огороженного изгородью клочка земли ничего не видит и не слышит. Даже вперед чуть подался, как перед разбегом, и нахлобучил козырек крыши на морщинистый тесовый лоб.

В нем Гланька живет вдвоем с матерью — замкнуто и нелюдимо.

За их домом самый большой деревенский пруд, заросший у берегов жесткой осокой и наполовину затянутый

чешуйчатой рогожкой зеленой тины, усыпанной сверху желтыми листьями.

На открытом месте вода рябит, как стиральная доска, и подбивает край рваной рогожки утиным пухом и перьями.

На мостках Семичиха в красном платке и черной фуфайке, сгорбившись, шумно плещет ведрами в холодной воде свинцового цвета.

У Семичевых дом похож на хозяина.

Дядя Леша хоть ростом и маленький, но суетливый и громкий. А когда выпьет, его по всей округе слышно. Очень любит хвастаться или, как говорит моя бабушка, перед людьми побахвалиться. Иной раз и с гармонью по деревне пройдет. Завернет в каждый заулочек и кого у крыльца застанет, того уж без задушевной беседы не отпустит.

Вот и в доме, срубленном им года три назад, есть какой-то кураж.

Он, если идти снизу, откуда иду я, стоит на левом порядке и как раз посреди Попова.

Нет, скорее даже не стоит, а гордо красуется перед старыми в годах избами.

Он и в ненастные дни весь будто светится и словно приподнимается над землей — легко и радостно.

На окнах затейливая резьба и не в два цвета, как у Каюровых, а в четыре или в пять, и смотрят они не на дорогу, а поверх кустов сирени куда-то далеко за горизонт.

И крыльцо у него выше каюровского, и лестница круче.

И не изгородь из жердей колко щетинится перед домом, не тычинником осиновым обнесен вокруг — окаймляет его резной палисад из выстроганного штакетника, заостренного, как чернильные перышки с дырочками посредине.

В таком вот красивом доме живет Ленка...

От нее я сразу пошел в наш старый дом, но по дороге вспомнил, что сказал утром дед: через год и у меня будет новая изба.

Я не успел еще порог переступить, а дед уже спрашивает:

— Ну, всех ли обошел? Скоро ли придут? У нас с бабушкой все готово.

Я прошел в переднюю и ахнул.

Стол и впрямь ломился от пирогов и от них в избе стоял такой слоеный запах, что у меня потекли обильные слюнки. Едва успевал их сглатывать.

Через полчаса пришли все, кого я пригласил на свой день рождения. И не с пустыми руками, а, как водится, с дорогими подарками.

Колька вручил мне пастушью плетку с резной деревянной ручкой и с хлопцом из конского волоса.

Тамарка преподнесла коробку цветных карандашей, уложенных в два ряда и еще не оточенных.

Валька Каюрова смущенно сунула в руки коробку с золотистыми фантиками от шоколадных конфет.

А Ленка протянула толстую черную книжку в твердой обложке и тихо проямлила:

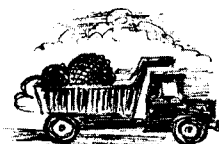
— Выучишь буквы и прочитаешь...

Я, в свою очередь, похвастался новой машинкой.

Дед усадил нас за стол, а сам сел во главе его. В граненый стаканчик он налил водки, в зеленую стопку для бабушки красного вина и торжественно сказал:

— Ну, дорогой внук — с днем рождения! — Притянул меня к себе и поцеловал. — Расти большой и умный!

Дед с бабушкой выпили, а мы молча набросились на пироги...





КОЛЬКА

В Попове нас всего двое мальчишек — он да я.

Мы с ним одного роста. Каждый, как смеется дядя Леша Семичев, по метру с кепкой.

Только у Кольки волосы жесткие и с рыжинкой, даже чуть-чуть вьются, а у меня прямые и светлые. Их легче расчесывать.

У Кольки есть на носу веснушки, а у меня нет. Зато у меня есть шрам на лбу. Играл на полу, споткнулся и упал на швейную железную машину «Зингер».

Бабушка говорит, что у Кольки глаза зеленые, а у меня синие.

Вот и не правда. У меня они серые. Специально рассмотрел в зеркале. Да и у Кольки тоже глаза не совсем зеленые. В них на солнце светятся желтые крапинки.

Колькин дом стоит на крутом спуске с холма.

Весной, когда тает снег, и летом после ливней под его окнами громче всего бурлят и пенятся ручьи. По ним мы снаряжаем к синему морю щепки и самодельные кораблики.

Ниже стоят еще два дома: Каюровых и Голубковых.

За ними конец деревни. От нее здесь в разные стороны разбегаются только тропы.

Узкая тропинка по щиколотку в траве с пригорка ныряет вниз к серебряному роднику по имени Гремячка, который

прячется от солнца в густых зарослях глубокого и сырого оврага.

Тропа пошире выскакивает из дорожной колеи на склон и по нему напрямик, легко и весело, сбегает к речке, а от моста уже, как дед мой, с одышкой поднимается в крутую глинистую гору, на которой стоит старинное село Сумароково.

У Осиповых нет бани. Кольку моют в печке. Меня бабушка тоже мыла в печке, пока дед не поставил в саду баню. Как хорошо было сидеть на соломе и соскребать пальцем сажу с черного свода!

Зато у Кольки есть заяц. Зайчонка ему принес из леса отец. Мы его называли Трусом. Но теперь он вырос и осмелел. Ему уже тесно в деревянной клетке и ломится он в ней во всю заячью прыть — просится на волю.

Скоро отнесем его в лес, решили мы с Колькой, и отпустим, хоть и жалко с ним расставаться. Привыкли.

А еще у Кольки есть собака Крошка. Черная, лохматая и злая.

Если она отвязана, то я в дом не захожу и стою у закрытой калитки. И пока жду, Крошка захлебывается лаем, прыгает, ошетинаясь, на палисад и все норовит просунуть между штакетинами мокрый нос, схватить меня за штанину и укусить.

Я не люблю ее и боюсь...

Мы с Колькой встречаемся каждый день.

Вот и сегодня поиграли в машинки у его крыльца, и у нашего, а когда надоело, побежали на конюшню.

Колькин отец, дядя Толя, работает конюхом. Лошадей в конюшне много, и все колхозные.

Мы забрались на телегу, сидим и болтаем ногами.

Колька умеет запрягать, а я, наверно, не научусь — побаиваюсь лошадей. Однажды зимой бабушкина Майка так понесла нас с горы, что чуть не перевернула сани. Бабушка отхлестала ее вожжами и всяко обругала, но с того раза я катаюсь только на смирных...

— Эй, малышня, — подзывает нас дядя Толя, — глядите, чего покажу-то.

Мы наперегонки бежим к конюшне. Колька от меня отстает.

— Видите, — дядя Толя достает из кормушки что-то круглое и серое, похожее на маленький горшок. — Осиное гнездо. Не бойтесь. Осы улетели.

Мы покрутили гнездо в руках, легкое, будто осыпанное пеплом, постукали по нему — как тонкая бумага на клею — и снова положили в кормушку.

Потом я подошел к стойлу, где стоит бабушкина Майка. Серdito на нее посмотрел, но все же охапку сена ей бросил.

— Что ж ты, дурочка, так меня напугала, — с обидой говорю ей. — А что как на всю жизнь?

Майка смотрит на меня, как на внука своей хозяйки, и невинно хлопает жесткими ресницами. Глаза у нее добрые и ни в чем не виноватые.

— Ведь знаешь, что с горы бегать нельзя, — я тяну через кормушку руку и хочу потрогать ее влажный нос. — И сама, глупая, ногу можешь подвернуть и бабушку мою покалечить. Знаешь ведь, а почему бегаешь? Не стыдно?

Майка, прихватив губами клочок сена, вытягивает над кормушкой шею и встряхивает мордой, да так сильно, что из глубоких черных ноздрей, похожих на речные ракушки, летят по сторонам тягучие брызги и даже попадают на мою ладошку.

— Колька вот верхом уж ездит, — с обидой выговариваю жующей сено Майке, — а я из-за тебя и к лошади подойти боюсь.

Стою у Майкиного стойла, смотрю на лошадь и уже не с ней вслух разговариваю, а о своем думаю.

Да и зачем ей знать, что катается Колька верхом не в поле, а у конюшни и то под присмотром отца, но ведь ездит же и не боится. А я?

— К делу, — постоянно повторяет нам дядя Толя, — с малых лет приучаться надо.

Вот он и приучает Кольку, и показывает ему, как правильно запрягать в телегу лошадь. И Колька уже разбирается в сбруе не хуже отца и знает, что и в каком порядке выносить ему из конюшни.

А меня дед жалеет, даже не столько дед, сколько бабушка. Она ни о каких делах и слышать не хочет. Чтобы я топор в руки взял или на лошадь верхом сел — упаси Бог! И думать не думай.

Дед у меня лучший в округе катальщик и самый искусный столяр.

В избе у нас нет покупной мебели, вся им в прикрывине сделана: застекленный под посуду шкаф, крепкие табуретки, комод с выдвижными под белье ящиками, шифоньер для пальто и костюмов. Даже раздвижной круглый стол и тот не из магазина.

А прикрывина — это прирубленный к задней стене двора небольшой сарай, в котором у деда стоит верстак и хранятся инструменты.

— Погоди, — всякий раз останавливает меня дед, когда я подхожу к верстаку и беру в руки рубанок или молоток, — успеешь, наработаешься еще...

А мне порой так сильно хочется распилить палку, потрогать доску и позабывать в кряж гвозди.

— Вот так, Майка, — напоследок жалуюсь ей на свою жизнь. — А тут еще ты и от лошадей у меня охоту отбила...

— А ну-ка, марш на улицу! — строго командует дядя Толя. — Лошадей выводить буду.

Мы выбегаем на берег пруда и встаем поотдаль от того места, где пьют лошади.

Дядя Толя по одной выводит их из конюшни.

Мы жмемся на ветру друг к другу и смотрим.

Вот появляется из темного проема распахнутых ворот тяжеловес Карько и широкими, как лопухи, копытами рас-

плескивает в луже жидкую грязь. Ноги у него толстые, как еловые плахи, и мохнатые. Грива у Карьки за лето выгорела и теперь свисает с шеи пластами и волотьем, как спутанная пакля. Сивая челка спадает на глаза и закрывает на лбу белую бархатную звездочку. Ходит Карько в раскачку и с одышкой.

На нем по зиме возят из-под горы воду в ржавых бочках, похожих на его раздутый живот.

А вот, перебрав копытами жерди деревянного настила, выскакивает на волю неугомонная и плясовая Цыганка. На хребте ее шелковисто переливается смоляная тень. С ноги на ногу, пружиня, переминается, головой взбрыкивает.

Дядя Толя едва удерживает.

На ней ни одного пятнышка. Только в глазах, отражаясь, плавают в ясный день матовые облака.

Цыганка не подходит, а подбегает к пруду и, словно разгоняя тину, шлепает точеными копытами по его глади. Потом резко вскидывает голову и пронзительно ржет в низкое ненастное небо. И после этого, шумно отфыркиваясь, опять же не пьет воду, а жадно всасывает ее. Уши у Цыганки в этот момент прядут сами по себе, атласная кожа нервно дрожит, а жесткий смоляной хвост по привычке сметает с боков невидимую мошкарку.

Я люблю лошадей. Они такие сильные и красивые.

Мне жалко, когда их стегают кнутом и занузанных резко понукают вожжами.

Увижу на их боках вздутые кровяные рубцы, и мне самому становится больно...

— Пойдем домой, — толкает Колька. — Ноги замерзли...

— Не, рано еще, — не соглашаюсь я, хотя и у меня уже потекло из носа.

Мы дрожали на осеннем ветру до самых сумерек, пока дядя Толя не напоил Майку.

Ее-то я и ждал.

Майка тоже черной масти, но с огненно-рыжим отливом на тугих боках и ослепительно белым пятном на лбу.

Она уже не молодая и не семенит, как Цыганка. У нее и багровых рубцов на коже больше, чем у подружек, и не такая пышная на шее грива, как у тяжеловеса, и глаза под мутной поволокой не такие ясные и живые, как у них, даже хвост и тот у нее почему-то наполовину обстрижен.

Майка спокойно из конюшни вышла и также мирно вернулась обратно.

Поглядишь и не подумаешь, что это у нее, смирной и покладистой, самый крутой нрав и неукротимая прыть.

Наконец, дядя Толя, гремя ключами, закрыл конюшню на замок.

— Ну что, малышня, по домам, — улыбнулся он и, набросив на плечо моток веревки, молча на полусогнутых ногах поковылял в сторону деревни.

За ужином я попросил деда научить меня строгать рубанком и выпиливать лобзиком наличники.

Дед внимательно выслушал меня, подумал о чем-то, но ничего не сказал...





ОВИН

Среди деревенских построек — изб, бань, амбаров и конюшни — на особицу в поле за огородами стоит мрачный и таинственный овин.

В нем по осени сушат зерно и лен, связанный в снопы.

За овином водилась дурная слава. Туда и взрослые-то в одиночку без надобности не ходили, а уж мы и подавно обегали его за версту.

Сказывали, будто в овине по ночам собирается с округи вся нечистая сила и гомонит там до третьих петухов.

Если верить тому, что говорят, то в нем в прежние времена не одна душа сгинула.

Так ли, нет, но чей-то вой и всхлипыванья доносятся из него порой и до нашей избы. Тогда я наглухо закрываюсь одеялом и подныриваю под горячую дедову руку.

После дня рожденья мы с Колькой поспорили. Я сказал, что не побоюсь, когда стемнеет, в одиночку зайти в овин.

— Не зайдешь, — подзадоривал меня Колька.

— А вот и зайду, — распалялся я.

— А вот и нет.

Я понял, что отступать поздно и твердо сказал:

— Сегодня вечером жди меня у Ленкиного огорода.

— Ну-ну, — ехидно буркнул Колька, прихватил свою машинку и, насвистывая, пошел к своему дому.

Я подождал, пока он скроется в заулке, и гумном побегал к овину.

Днем овин выглядит не так страшно. Он похож на старую собачью будку с просевшей посредине крыши.

Я обошел вокруг и даже заглянул внутрь. На серых запыленных балках сидели такие же, как и в деревне, серые воробьи и, не обращая на меня внимания, деловито чистили клювом взъерошенные на сквозняке перышки. Для воробьев здесь раздолье. Ведь дочиста выметена только земляная «ладонь», утопанная до звона, а в траве у нижних венцов желтеют россыпи ржаных и пшеничных зерен. Ключ — не хочу.

Подходить к печкам не стал, но издалека все же прислушался. Ни шороха, ни звука. Даже ветер и тот не завывает в трубах. Только у черных прокопченных стен белеют осиновые лопаты да топорщатся в углу березовые истрепанные метлы.

Овин, как большой амбар, распахнутый по бокам настежь, стоит одиноко в поле и смотрит крохотными не застекленными оконцами на притихшую за огородами и садами деревню.

Вот также войду в него и вечером. Еще и свистну для пушей важности. Пусть у Кольки поджилки затрясутся!

С такими мыслями возвращаюсь домой и весь день гляжу на часы и на небо. Жду, когда стемнеет.

...В условленное место прихожу первый. Залезаю на изгородь и высматриваю Кольку. А вдруг не придет? Нет, он не упустит случая, чтобы лишний раз надо мной поиздеваться. Ему всегда в радость, когда я в чем-нибудь ему уступаю. Он и сейчас думает, что я струшу и не пойду. Нет уж, теперь-то я ни за что не передумаю и сделаю все назло ему.

А вот и Колька показался из Ленкиного проулка. Руки в карманах, кепку нахлобучил на самые глаза, идет вразвалочку и с наслаждением жует что-то сладкое. Ну-ну,

посмотрим на тебя, когда вернусь из овина. У самого-то, небось, духу не хватит.

— Ну что — готов? — как ни в чем ни бывало, спрашивает Колька и, не дожидаясь ответа, направляется в сторону проселка.

Он молча дошел со мной до последнего куста у обочины дороги и также буднично сказал:

— Все — дальше не пойду.

До овина оставалось метров двести.

— Давай до лопухов, — уговариваю его, — на грабалке и посидишь...

— Не, я боюсь, — с улыбкой признается он и шмыгает носом. — Это ты у нас такой смелый. Так что шагай!

Делать нечего. Подтянул штаны, выломал прут, подобрал в канаве камень и сунул в карман.

— На, возьми, на всякий случай, — Колька протянул мне складной ножик. — Только, смотри, не потеряй.

Ишь, какой заботливый. Даже ножика не жалко. Нарочно, припугивает.

Ну да ладно, подумал я, взял у него ножик и, чтобы не потерять, зажал в кулаке. Сплюнул и, насвистывая, вышел через дорогу на сжатое поле.

Сумерки сгущались. Было видно, как в небе над овином вспыхивают заиндевелые звезды.

А овин-то вечером, вижу, совсем не такой, как днем. Не стоит в поле, а будто лежит у темного перелеска, как огромная притаившаяся собака.

В зарослях лопухов у стены, как ребра, торчат из травы редкие зубья конных грабель, а на ее железном сиденье встряхивает крыльями огромная ворона.

Откуда она взялась? Вроде, на наших, деревенских, не похожа. Какого-то грачиного с отливом цвета и с белым зазубренным клювом.

Надо ее спугнуть. Вынимаю из кармана припасенный камень, подхожу поближе, прицеливаюсь и кидаю в ее сторону.

Камень знобко чиркнул по колесу грабалки и, отскочив, глухо ударился в стену овина.

Ворона без крика, шумно загребая крыльями воздух, сделала круг над овином и тяжело опустилась на его крышу. Да так хитро на ней пристроилась, чтобы сверху ей было видно меня с любой стороны овина.

Подхожу к граблям, где она сидела, и, что есть силы, хлещу ивовым прутом по крапиве и лопухам.

Ворона не улетает. Она, шурша дранкой, неуклюже переминается с ноги на ногу и, не отворачиваясь, свысока на меня смотрит и о чем-то своем вороньем думает.

Уж, не бес ли какой вселился в нее? — с ужасом подумал я и стал обходить овин слева, чтобы, пройдя через него, выйти в сторону дома.

Остановился как раз напротив сквозного в стене проема.

Прислушиваюсь. Вроде, тихо. Подхожу поближе. Поднимаю глаза и от неожиданности вздрагиваю. На меня в упор смотрит ворона, а глаза у нее искрятся, как угольки, и будто потрескивают.

На лбу под картузом у меня высыпала испарина. В страхе начинаю пятиться на кромку поля и чуть не падаю, наткнувшись на какую-то корягу.

О, Боже! Под ногами у меня зияет черными глазницами серый коровий череп. Как ошпаренный, я отпрыгиваю на край канавы и в этот миг, как мне показалось, из черепа с шипеньем юркнули две фосфорные змейки и сухо зашуршали в прихваченной морозцем траве. А ведь в наших местах змеи не водятся.

Сжимаю в потном кулачке Колькин ножик, как последний свой оберег, и слышу, как в овине заплескали крыльями летучие мыши и заскрипели острыми коготками о гладкие жерди стропил.

Ворона с карканьем снялась с крыши и уверенно взяла курс на деревню.

Я уже не раз пожалел о том, что завязал с Колькой этот дурной спор. Сидел бы сейчас дома, ел бы горячий творог с сывороткой и ни о чем не думал. Так нет, захотел Кольке доказать что-то и хоть чем-то ему досадить. Вот и доказал!..

Только сейчас замечаю, что вокруг меня кружится первый в этом году снег. Он падает на мое лицо, обжигает щеки, тает и стекает за воротник.

Разлохмаченными хлопьями снег вырывается из черного зева овина и над моей головой белым вихрем взмывает в таинственную высь.

А у меня одно желание — скорей вбежать в избу, уткнуться в дедушкины колени и почувствовать на своей голове его тяжелые теплые ладони.

Я смотрел в темный, освещенный снегом, проем и, как замороженный, не мог оторвать от него взгляда. Какая-то неведомая сила будто подтолкнула меня, и я медленно, не чуя под собой ног, сделал первый шаг.

Войдя в проем, я закрыл глаза, и ноги сами, не касаясь земли, пронесли меня сквозь роковую темень. Я почувствовал их только в поле на жесткой стерне, когда уже был далеко по другую сторону овина.

В ушах шумел ветер. За спиной я услышал чье-то отрывистое дыханье и глухое шлепанье голенищ.

Меня кто-то догонял. Я припустил еще сильнее и, когда шлепанье голенищ за спиной смолкло, я на миг обернулся и увидел Кольку.

Это он бежал за мной.

У изгороди я остановился и только тут вспомнил о нашем споре и о том, что Колька все это время ждал меня у куста бредины.

— Ты чего? — едва выговорил он, подбегая ко мне. — Я же там...

Колька кепкой размазал по щекам слезы. Плакал почему-то он, а не я.

В волосах его пушился снег.

Я не знал, что говорить. Выходит, я его бросил, а он честно сидел в канаве и ждал. Он видел, как я без оглядки рванул от овина и даже не оглянулся в его сторону.

Мне стало стыдно.

— Где ножик? — всхлипнул он и протянул руку.

Я с трудом разжал онемевший кулак — ножика не было.

Колька зло и больно стукнул меня в плечо и пошел прочь.

У меня тоже заслезились глаза.

Так плохо мне еще никогда не было...





ДЕД МИХАИЛ

Каждый вечер после ужина мы щиплем шерсть.

Вот и сегодня дед принес с подволоки серый тряпичный куль, развязал его и положил посреди избы. Сам сел у стола под керосиновой лампой, где светлее. Бабушка пристроилась на стуле под фикусом, а я с ногами забрался на диван у печки.

Так и сидим молча.

Я не люблю щипать шерсть. Вся она какая-то сальная. Два-три сухих и цепких репья вытащу, и пальцы уже слипаются.

Но без дела сидеть стыдно. Вот и бросаю очищенную шерсть в картонный короб, а колючки и грязь — на пол у дивана.

— Дюдь, — прошу я, — Расскажи про Ивана Сусанина.

— Я же рассказывал.

— А ты еще раз...

— Ну, слушай. Дело было зимой. Время смутное. Москву враги захватили — поляки, а царь наш скрывался от них в Костроме — в монастыре. Поляки узнали про то и послали за ним отряд. Долго они плутали по нашим лесам, пока не вышли к деревне, где жил Иван Сусанин. Это недалеко от села Домнина. Летом на ярмарку поедem — покажу.

«Веди, говорят, нас в Кострому. Да не дальней дорогой, а ближней, а не поведешь — голова с плеч».

— И что повел он их?

— Да, внук дорогой, повел, но ты лучше спроси — куда?

— Ну и куда?

— А в топкое болото и на верную погибель. Вот куда, сын милый, повел он заклятых врагов царя нашего батюшки и всей русской земли. И сам погиб, как герой, и врагов в болоте утопил.

— А какой он был?

— А такой, как я. Только не хромой. Ну и в плечах, думаю, пошире меня был и ростом повыше. Ну, и с большой бородой...

Я исподлобья посмотрел на деда. Он на минуту перестал щипать шерсть и так вдруг заморгал глазами, как будто вымывал слезой залетевшую в них мошку.

На его лысый затылок с редкими спутанными волосами падал от лампы, висевшей над ним, густой, будто лампадный, свет.

За окнами гудел бездомный ветер.

Как все же хорошо в такой час сидеть в жарко натопленной избе и молча щипать в бумажный короб серую свалывшуюся шерсть.

Часы пробили девять, и мы, свернув работу, легли спать...

Утром короб с очищенной от колючек и грязи шерстью дед унес в баню.

После завтрака я пришел к нему, сел на лавку у окна и стал смотреть, как дед бьет шерсть.

На стене, напротив единственного оконца, висит устройство, похожее на большой лук с туго натянутой сыромятной тетивой.

Одной рукой дед держит лук, а другой дергает по желтой певучей струне деревянной зацепкой. Струна звенит,

как взлетающий шмель, и мелко-мелко дрожит, да так, что рябит в глазах.

Серая дымчатая шерсть летает вокруг нее, как ужаленная, и, покрутившись, превращается в невесомый пух.

Звон больно отзывается в ушах и как будто закладывал их ватой.

Взбитая шерсть, как паутина, опадает в тот самый картонный короб, в который вечером мы ее очищенную складывали, а пыль манной мукой плотно оседала на прокопченные бревна.

— Дюдь! — не удержался я, но дед с первого раза не услышал меня, и тогда я крикнул уже во весь голос. — Дюдь!

Дед повернулся, и я не сразу узнал его. Даже испугался.

Все его лицо — и слипшиеся на лбу волосы, и густые ершистые брови, и даже мелкая на подбородке щетина — все было припорошено пылью, какую по весне сдувает ветер с весенних вербных почек.

— Чего тебе?

— Долго еще?

— Заканчиваю...

Трогаю пальцем свои щеки. На них тоже чувствую мягкую и липкую пыль. Пыльца размокла даже на языке и вязала слюну.

Минут через пять дед собрал взбитую шерсть в короб, и мы вернулись в избу...

После обеда в кути у окна дед садится за стол и начинает колдовать — лепит из шерсти или, как он говорит, закладывает будущий валенок.

У него получается не валенок, а какой-то неуклюжий и большой чулок, в котором я запросто с головой мог бы при желании поместиться.

Дед аккуратно заворачивает его в холщовую тряпицу цвета солдатской шинели — так бабушка накрывает вы-

нутые из печки пироги — кладет сверху тяжелую ладонь и часами шаркает, меняя руки, по грубой засаленной материи с черными смолистыми коростами.

Сидит, смотрит в окошко и ни о чем не говорит.

Иногда я подхожу к нему, сажусь рядом и скоблю ногтем запекшуюся на холсте грязь.

Вот и сейчас незаметно подкрадываюсь и обнимаю деда за шею, но тут же отдергиваю руки, уколотившись о его жесткий подбородок. Дед брился раз в неделю по субботам после бани.

Дед ловко зацепил меня сзади свободной рукой, привлек к себе и поцеловал в висок.

— Смотри-ка, что я тебе приготовил, — он отодвинул к окну валенок и высыпал на стол из белого мешочка маленькие деревянные колодки. — Ну что, сумеешь валенки скатать?

Я пожал плечами и, как игрушки, сгреб их в кучу.

— Завтра пойдем со мной в баню — будем учиться...

— Дело ли говоришь-то, — не поленилась и вышла из кухни бабушка. — Чай, ребенок. Или хочешь, чтоб задохнулся. — Она покачала головой, сердито повела бровями и покрутила у дедова виска мокрым пальцем.

Дед улыбнулся и ничего ей не ответил.

В этот вечер я лег спать пораньше...

Дед разбудил меня не в четыре часа, как обещал, а в шесть, когда наладил баню.

Бабушка стояла рядом с ним и опять укоризненно качала головой.

— Отступись! Дай мальчишке поспать.

— Вставай. Котлы кипят кипучие, — прохрипел дед мне на ухо и, не обращая внимания на бабушку, подхватил меня под мышки, встряхнул и поставил на кровать. — Одевайся!

Я спросонья ничего не понимал и с закрытыми глазами надевал на себя все, что мне подавал дед.

— Ну, все — теперь суй ноги в валенки и пошли!

В кути дед прихватил со стола фонарь, и мы при свете его быстро дошли двором до предбанника.

Когда дед открыл дверь в баню, из нее вырвался белый клуб пара. Он набросился на меня, и так шибанул в нос чем-то кислым и едким, что я в миг зажмурился и зажал ладошками нос.

— Ничего, внук, потерпи. Это по первости так не вкусно, а потом ничего — пообвыкнешься. Ну-ка, проходи внутрь-то...

Дед поднял над головой фонарь, поразогнал полотенцем пар и, подталкивая меня в спину, подвел к нижней лавке полока и усадил на нее.

— Вот здесь пока присядь и оглядись. Открой глаза-то и руки ото рта отыми. Ну, как — терпимо? То-то же!

Я открыл глаза и снова зажмурился. Глаза слезились. Кулачками потер их и снова открыл. Дед прилаживал фонарь на гвоздь, вбитый в стену над дверью.

Баню было не узнать. Сейчас она походила на избушку Бабы-Яги.

Слева от меня сердито пофыркивал из-под крышки бурлящий котел. Из печки через щели в дверце пробивались тонкие и бледные волокна света и болезненно дрожали над полом. Справа на лавке стояло и дымилось корыто с чернильной водой. Тусклый свет опутанного проволокой фонаря тоже едва пробивался сквозь густой и стойкий полумрак.

— Ну вот, а теперь смотри, что и как я делаю, и запоминай. Потом будешь сам управляться.

Дед снял с котла крышку. Из-под нее взметнулся вверх пар, будто того и ждал, но, ударившись о потолок, бесшумно заметался из угла в угол, пока не обессилел и не сполз по стенам к полу, чтобы осесть испариной на ведрах с ледяной водой.

Дед чуть выждал и стал мешать в котле деревянной палкой. Потом поставил ее, взял железный прут и вытащил

им тяжелую, черную и дымящуюся заготовку, подержал ее над котлом, чтобы стекла вода, и ловко шлепком бросил на лавку.

— Узнаешь? — повернулся ко мне дед. — Вот он валенок, что вчера на столе лежал. Не похож?

Дед обтер на лбу пот, примерился к валенку вальком и давай катать и отжимать из него воду.

— А ну, попробуй сам, — дед уступил место и протянул валеk. — Ну, смелей! Бери и елузь им по валенку — туда-сюда, туда-сюда.

Я налег всем телом и почувствовал под вальком пружинистую и упругую мяготь валенка, похожего на мокрый свернутый мешок, но как ни старался, воды из нее выжать так и не смог.

Тогда дед опустил на мои ладони свои, горячие и будто шерстяные, и вместе с ним мы отжали из валенка иссиня-черную жижицу.

— Ну ладно, на сегодня хватит, — освободил дед мои руки. — Кислую шерсть из валенка завтра выбивать будем. Беги в избу. Да смотри — не споткнись. Возьми фонарик. Он в предбаннике на окошке, а я достираю и приду.

Я не помню, как и до избы добрался. Пока шел двором, свежий воздух вскружил голову и, уже входя в дом, я споткнулся о порог и чуть не упал.

Бабушка, увидев меня, всплеснула руками, обняла и повела на кухню к умывальнику.

— Ведь говорила тебе — не ходи, — причитала она. — Нет, послушал деда, дуралея старого. Не пойдешь впредь?

— Пойду, — как можно тверже сказал я.

Бабушка обреченно вздохнула и замолчала.

Через час пришел дед, и мы сели за оладьи. Еще никогда я не ел их с таким аппетитом.

...Через неделю я держал в руках скатанные мною валенки. Валеночки, заложенные днем на столе, выстиранные

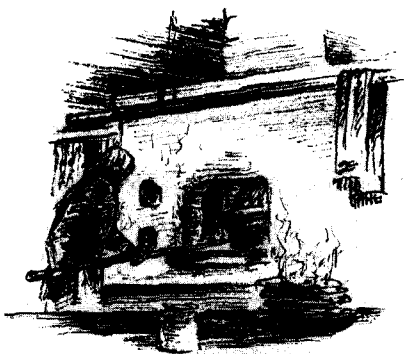
чуть свет в бане, высушенные днем в печке и вечером зачищенные пемзой.

Я держу их в руках и ошупываю. Они пока еще не разношены и потому жесткие, но зато голенища у них, как у настоящих, с двумя заворотами.

Подарю их Наташке, двоюродной сестренке, подумал я. Зима еще долгая, пусть щеголяет в них ее маленькая кукла.

Так и сделал...





БАБУШКА АННА

Проснулся рано и в поту. Фуфайка сбилась, и каленые кирпичи, как горчичники, нестерпимо жгли мою спину.

Попытался подвернуть ее под себя, но пока искал, крутился с боку на бок, сон, как рукой сняло.

Делать нечего — слезаю с печки и одеваюсь.

— Ты чего эку рань? — удивилась бабушка. — Спал бы да спал. Не заболел ли?

Бабушка уже давно хлопочет у печки.

Сажусь у окна на стул. Стекла запотели и серебристо слезятся. Протер ладошкой холодную слизь и почувствовал, как спину окинула противная знобная сыпь.

За окном светает. Серое утро осторожно, будто на цыпочках, приподнимается из-за горизонта и неслышно подкрадывается к сонной деревне.

Но вот скрипнула калитка. Это неловкий ветерок не смог в нее бесшумно протиснуться.

Вот хрустнула и рассыпалась на звонкие осколки промерзшая до дна лужа. Это соседская собака, взвизгнув от испуга, нарушила лапой ее сахаристую ледяную коросту.

В окне у Марьи Васиной вызревает только что зажженный свет. Фитилек лампы мерцает за стеклом, как скрытое в тумане восходящее солнышко.

Сижу и, замороженный им, напряженно вслушиваюсь в зыбкую и чуткую тишину ноябрьского утра.

Пока в нем ничего праздничного нет.

— Вовульк! — как сквозь сон, пробился из-за перегородки родной бабушкин голос. — С чем оладьи будешь? С маслом?

— Со сметаной, — нехотя отзываюсь и перехожу на кухню.

На столе в алюминиевой чашке лежат с пылу-жару пышнотелые оладьи — бледнолицые и подрумяненные.

От их аппетитного запаха у меня слюна поперек горла встала и я, поперхнувшись, даже закашлялся.

— Не заболел ли? — опять встревожилась бабушка и потрогала мой лоб своей теплой и вкусной ладонью. — Горлышко не болит?

— Не, — капризно отдергиваю голову и сажусь на лавку.

— Тогда ешь. Слышишь, что говорю, ешь, пока не остыли...

Обжигаясь, я выбираю оладью с двумя дырками посредине, похожую на свиной пятачок. Обмакнул ее в блюдце со сметаной, но сметана, густая и тягучая, как ленивое тесто, расплзлась к краям блюда и никак не хотела приставать. Тогда я макаю в нее палец, обмазываю им оладью, а потом облизываю и его.

Так мне показалось вкуснее.

Пока бабушка давила в чугуне картошку, я съел так еще три оладьи и больше уже не хотел.

— Бабушка, а что ты ела, когда была маленькой? — спрашиваю и незаметно вытираю о штаны руки.

— Что придется, — не отрываясь от дел, ответила она. — Да что останется. Жили мы в Шелках. Знаешь, деревню-то. Раз ездили с дедом. Мне и самой-то было всего тринадцать лет, когда папенька с маменькой померли, а на моих руках остались еще четверо мал мала меньше.

— А кто же вам кашу варил?

— Сама и варила, если было из чего. Спасибо добрым людям. В беде не оставили. Помогали, кто чем мог. Мужики по весне полосуку спашут, а осенью убрать помогут. Но и Христа ради просила. По деревням ходила, кусочки собирала. Так и жили...

Бабушка помолчала с минуту и снова, будто вспомнив о чем, тихо заговорила:

— Младшего, Павлика, в хорошую семью взяли. А мы, сестры, до самых девок друг дружки держались. А когда выросли, Катерина с Дусей, тетки твои, в Ленинград уехали, Шура в Галиче устроилась, а я за дедушку замуж вышла и к нему в дом перешла...

Я смотрю на бабушку и жалею ее.

Я не видел, когда она отдыхала.

С утра, чуть свет, топит печь и готовит еду, потом идет на конюшню, запрягает Майку и весь день пропадает на работе. Вечером снова хлопочет у печки. Поит скотину, носит воду и дрова, сучит пряжу, ткет половики, щиплет с нами шерсть и перед сном замешивает тесто.

— Бабушка, а ты всегда будешь со мной? — робко спрашиваю я.

Мне даже представить было страшно, что однажды я останусь без нее.

— Всегда, а как же. Конечно, всегда — куда же я денусь...

— А дедушка?

— И дедушка. Оба мы с тобой будем, пока не вырастешь. Ешь оладьи-то — уж, поди, остыли.

Утро припало мутным светом к окошку и, кажется, заглядывало через него на кухню.

Печка догорала. Бабушка разбивала кочергой головешки. Угли весело искрили, будто заигрывали с кочергой и назло ей снова вспыхивали. И тогда бабушкины щеки озарялись огненными тенями еще живого пламени. На ее открытом

лбу дрожала, переливаясь светом, бисерная россыпь горячего пота, а в синих глазах играл озорной и не укрощенный печной огонек.

Бабушка смахнула рукавом пот, смочила водой из-под умывальника лицо и, оглядев шевелящиеся в печке угли, закрыла устье черной гремучей заслонкой.

— Ну, вот, милый внук, — облегченно вздохнула она, — пора и деда звать. Беги за ним. Только оболокись.

Я одеваюсь и через двор бегу в баню...

После завтрака мы пошли в Соломино в гости к бабке Кате — старшей сестре деда.

Погода неожиданно разгулялась, и вокруг заискрился выпавший ночью белый-белый пушистый снег.

До Соломина от нас рукой подать — два поля да заросший между ними овраг.

Вдвоем с бабушкой мигом бы добежали, а с дедом правим путь медленно. Ему с хромой ногой и на тропке каждая смерзшаяся кочка помеха, а бабушка на ногу легкая.

Мы с ней забежим вперед, поубавим шаг и проверим, далеко ли дед. Снова забежим и опять остановимся, пождем.

Дед идет за нами с посохом, занятый собой и дорогой. Иногда закашляется и встанет, чтобы отдышаться.

А когда через скользкий овраг переправимся, деда на ровную тропку выведем, тогда уж мы с бабушкой не оглядываемся до самой деревни, знаем, что теперь дед с пути не собьется и сам потихоньку доберется до крыльца крайнего дома.

Так было и на этот раз.

Бабка Катя встретила нас у калитки, справилась, как мы дошли, и увлекла за собой в избу.

Я люблю ходить к ней в гости. У нее очень сдобные витушки и всегда есть магазинные пряники с глазурью.

Вот и сейчас она мне насовала их полные карманы. Дожидаюсь деда и забираюсь с гостинцами на теплую печку,

отдергиваю белую с желтизной шторку, кладу на язык ароматный леденец и наблюдаю сверху за всем, что происходит в избе за праздничным столом.

А за столом нынче, кроме деда с бабушкой, сидит еще и незнакомая мне женщина. Видно, тоже родственница.

Бабка Катя несколько раз назвала ее Марьей, а моя бабушка Ивановной. Выходит, Марья Ивановна.

Женщины, выпив по рюмке, стали словоохотливее.

У деда интерес другой — к вину и закускам, и потому он, не вступая в разговор, за столом только ест в аппетит да молча слушает.

Смотрю на женщин и люблюсь ими. И кажется мне, что в это тихое и морозное утро не от солнца, а от их загорелых лиц в передней так светло и не от легкого ветерка за окошком, а от их родникового говора в ней так мирно и уютно.

Оттого, может быть, и на душе у меня так празднично.

На столе почетно главенствует фигурный самовар, поблескивая впалыми ребристыми боками.

Вокруг него, как лепестки цветов, нежатся на тарелках нарезанные и еще неостывшие с пылу-жару пироги с яйцом и творогом.

В сковороде под светло-коричневой корочкой томится разомлевшая в печке картошка.

В глубоком блюде выглядывают из-под сметаны скользкие шляпки черных мясистых груздей.

В резной стеклянной вазе светится пузырьками золотой вязкий мед, а в него, как пчелка бархатным носиком, тычется кончиком луча озорное осеннее солнышко.

Бабушка моя, важная, как никогда, сидит в пропахшей нафталином обнове. На ней синяя вязаная кофта, которую она еще ни разу в жизни не надевала.

Обнова бабушке нравится. Она поминутно и церемонно приглаживает на ее рукавах непослушные ворсинки. Да вот только подружки сидят и никак обнову не замечают.

Тогда бабушка протягивает через весь стол руку и берет с дальней тарелки кусок пирога с яичной начинкой, а потом виновато охает и нарочно долго стряхивает с локтей прилипший творог.

При этом еще и причитает:

— Ну и наготовила, сестричка. Прямо глаза разбегаются.

Такой красивой я ее еще не видел. Волосы с проседью зачесаны под коричневую гребенку и уложены на затылке в узорный крендель, а на плечах торжественно, как будто сам по себе, покоится цветастый с бахромой по краям платок.

Бабка Катя, как хозяйка, неумело разливает в граненые стопки красное с мякотью вино.

— Машух, грибков-то попробуй!

Дед себе наливает водочки сам — и не в рюмку, а в стаканчик.

В своей избе бабка Катя чувствует себя хозяйкой. У нее еще не остыли и щеки от печного жара и дышат, как пряженцы, только что вынутые из печки.

— Не пора ли, бабоньки, причаститься, — она легко поднимает тяжелую стопку и со всеми уважительно со звоном чокается.

— Дал нынче Бог погодки, — поморщилась от вина Марья Ивановна, — вот и сидим, как барыни, — потом помужички выдохнула и уже по-бабьи аккуратно смахнула со стола в ладонь хлебные крошки и ловко забросила их в полуоткрытый рот.

У Марьи Ивановны лицо широкое и болезненно бледное. Глазки на нем, как две клюквинки, воткнутые в тесто, а между ними плоский нос с горбинкой — и тоже будто накладной. А бровей совсем нет. На их месте мозолистые дужки. Лоб узкий с натянутой туго пупыристой кожей. Волосы на голове редкие в один слой, наспех перехваченные с утра засаленной серой резинкой.

Марья на слово не бойка, чаще молчит, а уж если говорит, то только дело.

— Теперь перезимуем, — сказала, как отрезала, и по привычке вытерла заскорузлыми пальцами скопившийся в уголках синих бескровных губ белый налет.

— И не говори, — поддержала ее бабушка, — гоже, как управились — не как летось...

— Да худо ли, — подытожила бабка Катя, — тепереча и думушки не думай.

Нос у бабки Кати ноздреватый и со лба сползает, как тесто. Он будто зависает над верхней губой грузной сизоватой каплей.

Утирая губы, бабка Катя всякий раз задевает его — того гляди и напрочь с лица смахнет.

Среди подружек она старшая.

— Сестричк, — игриво уличает ее моя бабушка, — что стопку-то не допила, Лиса Патрикеевна...

— Разве? — по-детски удивляется бабка Катя, с удивлением глядит на стол и глазам своим не верит. — Ай-ай, и верно. Стара, матушка, стала, не вижу. — Укоризненно качает головой, легко подхватывает стопку и допивает.

Потом, прикрыв ладонью половину лица, брезгливо и долго трясет головой. Только и видно, как дрожат поверх ее узловатой руки набухшие хмельной слезой маленькие глаза, а по бокам розовеют изрезанные морщинами рыхлые холмики одутловатых щек.

Веселый хмель вдруг разом заговорил в глазах у всех. И в темных цвета спелой клюквы — Марьиных. И в голубовато-серых с проблесками сини — бабушкиных. И в студенистых, как кисель, — бабикатиных.

Женщины дружно потянулись за пирогами.

— Этта передача была по радиу, — успокоившись, уже серьезно начинает рассказывать моя бабушка, — не слыхали? Про солдата, как жисть-то у него поначалу заладилась, и как война-то потом. Не слыхали? Ну-ну.

А я ревмя редела. В плен он попал. Спойть его фашисты удумали. Наливают стакан граненый — всклень. Он выпивает. Ему хлеб суют — на, мол, закуси. А он им: «Я, чу, после первой не закусываю...». Второй подают — тоже полнехонек. Он и его выпивает. Потом третий... Господи, как и устоял! Так ведь не убили. Отпустили да буханку хлеба впридачу дали. А как хлеб-то делили, сестричк! Что бы крошку-то уронить — упаси Бог! Всем, чтобы поровну... А помнишь, Машух, как в войну-то жили?..

— Как не помнить, — опустила голову Марья Ивановна и промакнула у переносицы концом ситцевого платка.

Женщины завздыхали и молча выпили еще по одной.

В избе стало тихо.

Слышу, как по стенам цокают слету мухи.

Я задергиваю шторку, кладу под голову мягкий валенок, лежу и думаю о том, о чем раньше никогда не задумывался. У бабушки моей есть дед, а вот у ее подружек в доме мужиков нет.

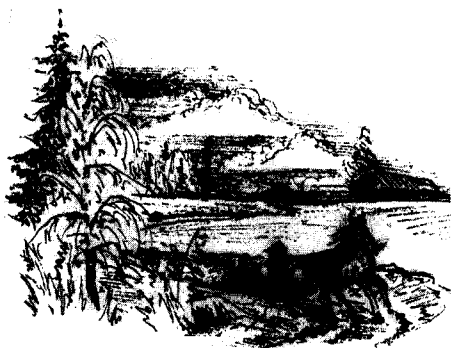
Пробегаю мысленно по избам нашей деревни. А ведь и верно, сколько знаю их, они все время одни — Ермиловна, ее сестра Груня, Семичиха, Наденка Куликова, Марья Васина, Анна Кудрявцева, тетя Крестя и Анна Васильева.

У них от мужей своих остались на стенах лишь свадебные фотографии в самодельных деревянных рамках, любовно украшенных поверху вышитыми в девичестве льняными полотенцами.

Все они молодыми погибли на войне...

Из гостей мы на этот раз вышли пораньше, чтобы успеть засветло перейти овраг...





В ЗИМОВКЕ

С началом заморозков мы перебираемся из летней избы в зимнюю, и живем в ней почти до мая.

Зимовка в два окна прирублена к дому. Маленькая, чуть больше бани.

Бабушка спит на печке, а напротив ее мы с дедом на железной кровати у стены.

Этой ночью сквозь сон я услышал, как бабушка будила деда.

— Батък, вставай, Дочка телится...

Утром я проснулся от странного шума. Дома никого не было.

Соскочил с кровати и увидел в углу включенного и еще не обсохшего теленка.

Он, неловко подвернув ноги, лежал на полу и тыкался носом в сухую солому.

Я подошел к нему и, боясь испугнуть, тихонько потрогал рукой его светло-рыжую спинку.

Теленок всосал влажными ноздрями воздух и поворошил хвостом отклеившиеся от стены обои.

— Маленький мой, — заговорил я с ним, как говорит со мной бабушка, когда хочет меня приласкать и пожалеть. — С днем рождения! Вот мы и появились на свет Божий, вот мы уже и глазки открываем.

Теленок приподнял тяжелую голову с белой звездочкой на лбу и доверчиво посмотрел на меня уставшими глазами. На животе и ногах, как у игрушечного плюшевого медвежонка, переливалась слипшаяся и мокрая еще шерстка.

Чистые копытца с черной окантовкой по краям судорожно подгребали под атласную темную грудку скользкую солому.

Пока я им любовался, пришли со двора дед с бабушкой.

— Уже познакомились, — дед наклонился и потрепал теленка по густому загривку. — Как назовем-то его, Вовульк?

Я растерялся и задумался.

И правда, у всех есть имена. Кошка — Муська, корова — Дочка, лошадь — Майка.

— А может, Буяном? — не дождался дед. — Вон, как копытами-то сучит — ай-ай! И хвостом — направо-налево! Озорник, да и только! Значит, Буяном тебе и быть. Нет возражений? Вовульк, согласен? А ты бабушка?

— Согласны. Отступись! — пробурчала бабушка из кухни.

— Ну, вот и хорошо, — выпрямился дед. — Буянко, Буянушко, Буян — звучит!

— Буянушко, — погладил я теленка по упругому и теплomu животу. — Буянко!

Дед отгородил для Буяна угол, и теленок стал жить вместе с нами...

В обед шумно ввалился в избу ветеринар Коля Михайлов из Соломино.

В распахнутом тулупе и без шапки с порога хрипло пробасил:

— Егоровна! Принимай гостей!

На отворотах полушубка в серых овечьих кудряшках путались клочки сена, а на голове в волосах торчали жухлые головки клевера.

Бабушка выскочила из кухни с тазиком горячей воды и поставила перед ним на табуретку.

Коля Михайлов вымыл руки и насухо вытер махровым полотенцем.

— Все ли слава Богу? — строго спросил у бабушки и поглядел искоса в угол на теленка.

— Да, вроде, Бог миловал...

— Тогда показывай потомство.

Он наклонился над Буяном и толстыми желтыми пальцами сначала помял у него живот, а потом поочередно завернул обе губы.

— Пойдем на двор, — не сказал, а приказал он бабушке и с кряхтеньем, опираясь на стенку, тяжело поднялся с коленка. — Корову проверим. А где у тебя Семеныч?

— В бане — щас крикну.

Бабушка накинула фуфайку, и они ушли на двор.

В избе остался сильный запах йода и перегара. Я почему-то не люблю ветеринара и боюсь его. Мне кажется, что живет он не в избе, а в нетопленном бараке, спит на голом полу под овечьим тулупом и ест по утрам сырую мерзлую картошку. У него и зубы желтые и пахнет от него все время вином и больницей.

Вот и сейчас вернутся они со двора, и дед выставит на стол припасенную для него поллитровку.

Так и вышло...

Я лежу на печке и слушаю их разговор.

— Семеныч, у меня ведь стог вчера спалили, — говорит Коля Михайлов.

— Да ну! — не верит дед.

— Вот те и ну. На ближней делянке. Большой и стог-то. В выходные собирался вывести.

— Знать, не угодил кому?

— Выходит, не угодил, — Коля зло сплюнул на пол, растер валенком и с шипом процедил, — Узнаю кто, прибью!.. — потом поднес ко рту стакан и, цокнув по

нему прокуренными зубами, залпом на один глоток выпил.

— И чего людям не хватает, — посочувствовал ему дед и налил ветеринару еще полстакана водки...

На этот раз они сидели не так долго, как раньше — не до полуночи.

Уходя, Коля заглянул ко мне на печку.

— Не дуришь? — попытался улыбнуться, но губы не слушались его. — На-ко, возьми в игрушки, — и Коля, порывшись в кармане, сунул мне шприц без иголки.

Из избы он вышел также шумно, как и вошел в нее, и скрылся в дверях за белыми клубами пара.

Дед проводил его с фонарем до лошади и вернулся.

Я спросил у него:

— Дюдь, а Коля хороший?

— Угу, — буркнул под нос захмелевший дед и снова сел за стол.

Деду я верю, и потому сразу жалею Колю Михайлова, который сейчас лежит в санях и во тьме пробивается сквозь пургу на тощей лошаденке к своему теплему дому в Соломино...

Зимой бабушка часто уезжала с деревенскими бабами в районный центр Сусанино. По снегу на лошадях они вывозили из овина колхозный лен, чтобы сдать его на завод.

— Сегодня опять повезем, — сказала бабушка.

— Скоро ли управитесь-то с ним? — дед не любил, когда бабушка уезжала, и потому сердился.

— Почем я знаю! В три-то лошади не скоро перевозишь...

Без бабушки зимовка наша как будто сиротела.

Весь день мы приноравливались с дедом к самостоятельной жизни. Обязанностей по хозяйству у каждого из нас сразу прибавлялось.

Вода, дрова, сено, печка, скотина, посуда, теленок. Вчера незаметно для нас со всеми этими делами бабушка управлялась одна. До и после работы все успевала делать.

А мы вдвоем за день так умаялись, что спать легли еще засветло. Даже шерсть не пощипали.

Днем было солнечно, а к вечеру на улице завьюжило, и под завывание ветра я быстро и мирно заснул на руке у деда.

Утром проснулся рано. Сегодня печь топил дед, и потому жестче обычного скрежетали по шестку чугуны, громче перестукивались в углу ухваты, и звонче на дне ведра плескалась прудовая вода.

Даже Буян и тот без бабушки все утро волновался.

В загородке, цокая костяными копытцами, он ходил кругами, шумно чавкал, шуршал соломой и обоями.

В избе было темно. Дед управлялся на кухне при свете печного огня.

Увидев меня, он обрадовался, зажег лампу, раздвинул занавески и посмотрел в окно.

— Матушки родные, — дед постучал по стеклу и, тяжело вздохнув, опустил на стул. — Погляди, что на воле творится. Замело нас с тобой, внук, по самую крышу замело.

Я подошел к окошку и вместо обычной на стеклах темени увидел за ними сахаристый снег, похожий на задернутые с обратной стороны занавески.

— И калитку, поди-ка, тоже завалило, — всерьез сокрушался дед. — Теперь, пока не откопаемся, свету белого нам не видать.

Нас и раньше заваливало снегом и потому, забравшись к деду на колени, я слушал его спокойно.

— Ничего, откопаемся. До вечера далеко, — дед ссадил меня с коленей на пол и вернулся к печке. — Сначала дела причередим, а уж потом и на разведку выйдем. А ну-ка, дорогой помощник, полезай в голбец * за картошкой!

Дед отставил чугуны и открыл люк. Из подпола потянуло холодом и плесенью.

* Голбец — в Костромской области подвал под избой.

Дед взял меня за руки и опустил в голбец на земляной пол.

Сам с трудом уложил в проем хроющую ногу и, присев на здоровое колено, включил карманный фонарик.

— Держи корзинку, а я тебе посвечу. Ну, смелее!

Голбец в зимовке был низкий. Не такой ухоженный, как в летней избе.

Я пригнул голову и огляделся. Юркий холодок тут же шмыгнул за ворот и заполз под рукава моей рубашки.

— Видно ли? — спросил дед. — Не спеши. Пусть глаза попривыкнут.

— Опusti фонарик-то.

— Так лучше?

— Еще ниже. Вот так, — поправил я его руку.

За разговором не так было страшно.

Тусклый свет фонарика цеплялся за махровые волотины, свисавшие с половиц, и упирался в серебристую паутину. В темном углу подвала матово светилась снежная наледь.

— Тут что-то светится? —

— Грибок, поди. Грибки есть такие. На бревнах растут. Вот они и светятся...

У ближней стены в сусеке я нащупал картошку, быстро набрал корзинку и кое-как по земле подтащил ее к люку.

— Вытаскивай.

Дед поднял корзинку, а следом вытащил и меня.

— Ну вот, а ты боялся, — он одобрительно погладил меня по голове, смахивая с волос цепкую паутину и пыль.

Дед снова занялся хозяйством, а я залез на печку, лег на голые кирпичи, сунул под голову старый валенок и уснул.

Проснулся от звона стекол. В избе по-прежнему горела лампа.

Я даже не мог понять — утро на дворе или вечер. Отодвинул шторку и увидел у окна деда.

— Дюдь! — позвал я его.

Он обернулся.

— Слезай скорее, — махнул он рукой, — а то не увидишь, как нас откапывают.

Я слез и только успел подбежать к окну, как в глаза мне больно ударил солнечный свет и на мгновение ослепил меня.

Проморгался и увидел за окном нашего соседа дядю Сашу Цветкова. Он загребал лопатой снег и отбрасывал его за спину.

— Пока ты спал, бабушка приехала, — радостно сообщил мне дед. — Она и позвала Сашуху.

На мосту слышались чьи-то шаги. Бабушкины! — узнал я и бросился к дверям.

— Ну что, горемыки, — с порога заулыбалась бабушка. — Даже на день вас одних нельзя оставить.

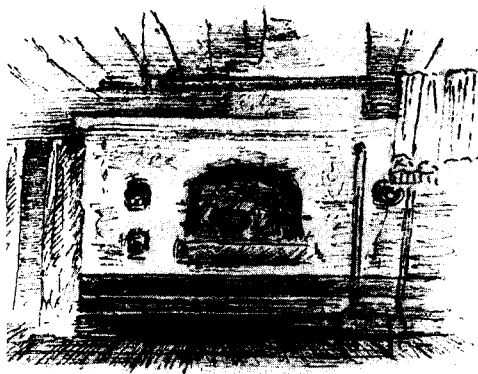
Я обнял ее и заплакал.

— Ну, про что слезы-то. Принимай-ка лучше гостинцы...

На этот раз она привезла мне пистолет и настоящие к нему пистоны.

Целую неделю, пока они не кончились, в зимовке пахло жжеными спичками и серой...





ПЕЧКА

Вчера с Колькой лизали и хрупали у амбара сосульки — кто быстрее!

Он опередил меня.

Утром бабушка потрогала мой лоб.

— Догулялся, зимогор, — она озабоченно покачала головой, достала из шкапа градусник, встряхнула его и сунула мне под мышку. — Всю ночь прокашлял, сиди теперь дома.

Делать нечего, перевернулся на бок и смотрю, как бабушка управляется по хозяйству.

В печке потрескивают дрова и слышно, как набирает силу спорое пламя. Отблески его беспокойно бьются на оконном стекле, шевелятся на черных шершавых боках чугунов, плещутся в ведрах и расцвечивают бабушкины щеки.

Я люблю, когда топится печка.

Лежу с закрытыми глазами и слушаю звуки наступающего утра: вот в руках у бабушки зашелестела веселая луковица, потом стрельнула отщепленная от полена лучина и упала на пол, вот ошпарил ведро вылитый из чугуна бурлящий кипяток, а следом брякнул о тару алюминиевый ковшик и захлебнулся в ней.

Я слышу из кухни и знакомые запахи: до чеса в носу щекочет вкусный, но терпкий печной дымок со смоляной приправой, обволакивает парной до тошноты дух намятой

для коровы картошки, пощипывает глаза едва уловимый парок ядреного лука, вяжет горло и вызывает слюну затхлая стыдость прудовой воды.

— Спишь? — открываю глаза и вижу склонившуюся надо мной бабушку.

Она достала градусник и пошла на свет к печке.

— Да, — вздохнула она. — Отгулял, мил человек.

Я понял, что дела мои плохи.

Интересно, как там Колька? Может, и он лежит с температурой. Вряд ли — Колька крепче меня.

В трубе завывал ветер. Снежная крупка сыпала по стеклам и шуршала под окошком соломой, приваленной к стене еще с осени.

Хорошо, хоть погода испортилась, а то бы совсем было обидно.

— Баб, можно я заберусь на печку.

— Полезай, — сказала, не отрываясь от дел, бабушка, но на всякий случай высунулась из-за цветной шторки и строгим голосом добавила, — только оденься.

От кровати до печки и всего-то два коротких прыжка, но на этот раз я не послушался бабушку и не сиганул по полу босиком, а съехал с матраца прямо в валенки, стоявшие у табуретки, но прихватил ногой подзор в голенище и, запутавшись, упал.

— Батък, ты? — окликнула бабушка, поджидая деда из бани, и по привычке выглянула из-за перегородки.

Увидела меня на полу, всплеснула руками и с криком бросилась ко мне:

— Ангел мой! — испуганно запричитала она. — Как же тебя угораздило? Не ушибся?

Я отряхнул коленки и покачал головой.

Бабушка довела меня до лесенки, приткнутой с боку у печки, и, пока я лез по ней, она, как наседка, расправив крылья, держала у меня за спиной свои ладони с широкими рукавами фланелевого платья.

— Полежи, духонька моя, погрейся.

Я затолкал в угол валенки и пальтушки и осторожно лег спиной на голые кирпичи, отполированные почти до блеска.

Лежу и слушаю, как подо мной глухо воркует на березовых поленьях прожорливое и ненасытное пламя и как жадно вылизывает оно низкий прокопченный свод печки.

Его тусклый свет, отраженный от оконных стекол, чуть оживал на тугих связках лука с распушенной золотистой шелухой и скрадывал ночные сумерки.

На полатах стоит припудренное мучкой деревянное корыто, в котором бабушка месит тесто, и лежат парами в ожидании своих хозяев зачищенные пемзой серые, черные и белые валенки.

Я чувствую лопатками, как крепчает печной жар, и кирпичи, пока еще терпимо, но уже пробирают кожу до озноба. На всякий случай подворачиваю под себя дедушкину фуфайку.

Лежу и гляжу в потолок. Пожелтевшие обои будто забрызганы грязью. Это следы от убитых хлопущей мух.

Печка напоминает мне доброе домашнее животное.

И точно, если смотреть от окна, то ее устье, как большой рот, прикрытый заслонкой, а шесток, как оттопыренная нижняя губа.

Передние гарнушки, как задумчивые и спокойные глаза с белыми в крапинку берестяными зрачками.

Даже выпуклые карнизы на челе и те похожи на толстые складки узкого лба, а белые с желтизной щеки испещрены в мелкую сетку тонкими морщинками цвета сухой рассыпчатой глины.

У нее и задвижка, торчащая из трубы, как высунутый на жаре шершавый язык с черной высохшей мякотью ягод черемухи.

И дым над крышей, как пар на морозе от живого дыхания.

Я видел и крепкие ее ноги, когда спускался в голбец за картошкой. Зимой они, как у коня-тяжеловоза, мохнатые и окинуты серебряной изморозью.

Мне, как наяву, и впрямь показалось, что печка подомной вдруг зашевелилась и тяжело, враскачку, сдвинулась с насиженного места.

Я привстаю, обхватываю ее руками за теплую с песчаными пупырышками шею и вижу, как изба раскрывается перед нами подобно куриному яйцу, и печка, как цыпленок, шурша скорлупой, выбирается из нее на волю и плавно поднимается над угловатой изгородью не зимнего, а весеннего в цвету сада.

Она быстро набирает высоту, а мне почему-то совсем не страшно.

Я только крепче прижимаюсь щекой к колючей трубе и чувствую ее горячее с хрипотцой дыхание. И вот уже по-птичьему мы парим над зеленым холмом в окружение белесых и почти прозрачных облаков, похожих на невесомые парашюты рассеянного одуванчика.

Под нами, как коровы в знойный полдень, уткнулись коньками и окнами под кудрявые кроны деревьев толстозадые деревенские избы.

Нахожу дом Осиповых и вижу у крыльца босоногого Кольку. Он задрал вверх наголо остриженную голову и, прикрывшись ладонью, с удивлением следит за моим полетом над деревней.

— Эгей! — кричу ему из поднебесья. — Я — Жар-птица! Лечу за молодильными яблоками для моей бабушки.

Колька тоже мне что-то снизу кричит в ответ и отчаянно машет обеими руками, но я не слышу его. Наверно, просится на небо да никак не может взлететь.

Так тебе и надо, смеюсь над ним и, дразня, показываю язык! Сосульки так на пару лизать, а болеть так мне одному. Нет уж, сиди теперь дома, паси уток и поли на огороде грядки, а я буду летать, пока не выздоровею, и кружиться над округой на чудо-печке.

Тебе и не представить, какая она сверху красивая — наша деревня. Она похожа на сказочную птицу с широкими полями-крыльями.

И вот на моих глазах крылья меняют цвет: они — то белые с синеватым отливом, то изумрудные, окропленные весенними всходами озими.

Летом, обласканные теплом и омытые обильными росами, крылья обрастают густой и сочной зеленью, а к осени выгорают на солнце до цвета спелой ржи.

— Вот она какая! — снова кричу Кольке, выглядывая из-за края печки. — Ты деревню такой никогда не видел!

Да и сам я вижу ее такую в первый раз!

Вокруг нее стоят приземистые холмы с гнездовьями сел и деревень, деревушек и хуторов, их разделяют низины с заливными лугами и светлыми речками, прикрытыми зарослями ольшаника и кустами бредины.

Скольжу взглядом по линии горизонта и, насколько хватает глаз, вижу только темные леса, из-за которых по утрам торопливо восходит солнце и за которые оно вечером нехотя опускается.

Петляют подо мной выцветшие тропки и полотна рваных проселков, силятся подняться в небо потухшие купола бело-красных церквей, сверкают, как стекляшки в траве, придорожные лужи и деревенские пруды, темнеют на цветочных склонах зарубцевавшиеся овраги.

А вот и наш дом. Он так и стоит, расколотый пополам, и ждет моего возвращения.

Мы парим по соседству с грозным ястребом, и я зорко, как он, оглядываю дворы и заулки у знакомых мне изб. Вон они, глупые и беззаботные курицы, бродят без присмотра у нашего крыльца и не видят нависшую над ними хищную птицу.

Где же бабушка?

Я уже смотрю и на землю, и на ястреба. Вот он, удалившись от нас, вдруг круто развернулся и начал медленно-медленно снижаться.

Я не на шутку забеспокоился, зная, сколько цыплят и куриц унес ястреб в нашей деревне.

— Ба-бу-шка! — кричу я что есть силы, но чувствую, как печной жар сушит и связывает мои онемевшие губы...

— Вова! Вова! Что с тобой, — как будто издалика услышал я встревоженный голос бабушки.

Я открыл глаза и, еще ничего не понимая, спросил:

— А курицы где?

— Какие курицы? На-ко, выпей горячего молочка. — Бабушка подала мне зеленую чашку. — Или приснилось что?

Я встряхнул головой и только после этого окончательно проснулся.

В избе было светло.

За окном бесновалась вьюга и, как эхо, завывала в трубе истопленной и уставшей печки...





ПОСЕДКИ

Зима в деревне долгая и скучная. В серую погоду день начинает угасать с самого утра.

Встаю с кровати, оттаиваю на стекле ладошкой махровую изморозь и гляжу в мутную щелку. То ли хмарь утренняя за окошком рассеивается, то ли сумерки сгущаются вечерние — не сразу и разберешь.

День короткий, а тянется вяло и нудно.

Бабушка убежала на работу, а дед сидит в кути и молча колдует над валенками.

И так каждый день...

По вечерам шиплем шерсть и слушаем радио. Под потолком лениво горит лампа, сонно колосятся на стене часы, а на диване мирно посапывает Муська.

Иногда, правда, ходим в поседки. Чаше к Наде Куликовой.

Она живет с матерью. Сын Толя учится в Буге на машиниста и приезжает только на каникулы...

Вот и в этот январский вечер сразу после ужина мы пришли к ней.

Надя сидит у окошка и вяжет носки.

Из-под очков слепо посмотрела, кто пришел — свои ли? — узнала и отложила спицы.

— Кто там? — послышался с печки голос бабки Крести.

— Лежи, мама, свои это — Егоровна. — Надя уже брякает на кухне посудой.

— Ну-ну, и ты Семеныч тут?

— И я, Крестя Панкратовна, — дед подошел и отдернул над печкой васильковую занавеску. — Болееешь что ли?

— Болею, дух мой, помирать пора.

— Успеешь еще. Потерпи до лета. Слезала бы лучше к нам.

Мы раздеваемся и садимся на лавку под образами, как у себя дома.

Так было принято. Деревенские ходили друг к другу запросто. Мало ли что у кого произошло.

— Живы-здоровы? — всего и спросят-то.

— Слава Богу!..

— Ну и ладно. Нас тоже Бог милует.

Зайдут, поздороваются и уйдут...

Надя вернулась с кружкой молока и поставила ее передо мной. Рядом положила два присыпанных мучкой колобка.

— Попробуй-ка нашего, — хвастается Надя, — у нас-то, поди, вкуснее...

Надя ладонью смахнула со стола крошки, убрала на комод газеты и подала деду колоду уже изрядно истрепанных карт.

— Сдавай. Ты у нас в прошлый раз в дураках остался.

Дед сдает и на меня. Я тоже люблю играть в карты.

За игрой идет бойкий обмен новостями. Деревня наша хоть и маленькая, но и в ней тоже всякое случается, а главные-то новости, конечно, бабы приносят из магазина.

— Анюх, что в Сумарокове-то творится, — начинает разговор хозяйка. — Ну-ко, человека убить. Мыслимо ли?

Я уже слышал, что неделю назад какой-то Вечка Куракин застрелил в Сумарокове молодого милиционера Володю Загвоздкина и еще своего друга, который жил у Вечки после тюрьмы.

— Не говори лучше. Страх Божий! — бабушка поглядела на меня и коротко перекрестилась на икону. — Такого парня погубить.

— Говорят, Вечка и дома в деревнях жег, — Наденка помуслякала кончик пальца и веером раскрыла розданные карты. — Кто ходит?

— Я хожу, — показал дед козырную шестерку и сходил под бабушку.

— Не знаю, правда ли, но будто в тюрьме он еще проигрался и за долги свои пожарами-то с друзьями и расплачивался, — продолжала Надя, не отвлекаясь от игры. — И ведь какой хитрый, шельма, на пожар вперед всех прибегал и так уж старался, так старался — себя не жалел. Без него, говорят, совсем бы худо было, чтобы и делали, кабы не Вечка. Дотла бы выгорело. Вот как все обставлял.

— Одно слово — тюремщик! Для него, что курицу зарубить, что человека зарезать, — не выдержал молчания дед и тут же прикрикнул на бабушку. — Ходи давай — не спи!

— Не мешай, — отмахнулась она и подняла глаза на меня. — Вовульк, есть семерки-то?

— Крой давай, — в тон деду отвечаю я. — Или забирай.

— Такого парня загубить! — качает головой Наденка. — Зоя-то извелась вся. Как ей такое пережить.

— Наверно, и сено у Коли Михайлова он спалил, — будто сам себе сказал дед и углубился в карты.

— Анюх, слыхала? — Наденка ведет свою тему. — У Клавки Потехиной Сашка-то совсем, говорят, отбился. Уж, на матку и ту стал руку подымать.

— Неужто, правда, — удивилась бабушка. — Парень-то, вроде, услужливый — не бойкий.

— Да нет, бойкий. До Вечки-то, сказывали, будто это он дом-то Машухин в Сумарокове спалил. Из ревности будто — к дочке ее.

— К дурочке-то? — всплеснула руками бабушка. — В жись не поверю.

— Люди говорят. Зря языком трепать не будут.

— Жалко парня, — покачала головой бабушка. — За что же такое наказание-то Клавке.

Я не знал, кто такой Сашка Потехин, но мне тоже было жалко его.

— Кабы батько-то жив был, разве бы так разболтался. Все бы острастку какую имел. Сколько уж ему?

— А, считай, Наталию моему ровесник. Восемнадцатый идет.

— В армии шерсть кислую быстро выбьют, — не удержался дед. — Там скорехонько всему научат. И как мать любить — тоже научат.

Дед смысл разговора не упускал и, внимательно следя за игрой, упрямо гнул в нем свою линию:

— Помяните мое слово, как шелковый вернется.

Дед для пущей важности и карту подбрасывал бабушке с вывертом. Вот, дескать, вспомните мои слова! Но, его, кроме меня, никто за столом не слышал.

— И не в кого бы, Надюх, — как ни в чем ни бывало продолжала бабушка. — В роду-то у них, что у нее, что у Григория, все смирные были и работающие. А тут на тебе.

— Уж сколько она приняла через него, — вздохнула Надя, подгребая карты к своему краю, — подумать страшно. И чего парню не хватало? Чего бесится?

— Ремня хорошего не хватало. Вот чего! Дубца батькина, — опять вставил свое слово дед. — Учить их надо, пока маленькие. Да ремешком! Верно я говорю?

Дед развернулся ко мне и потрепал по голове.

— Вспомни-ка, балаболка, когда ты ремень-то в руки брал? — услышала, наконец, бабушка и тут же осадила дедов запал.

— А потому и не брал, что внук слушается. — Дед с размаху впечатал в стол последнюю карту, потер от удовольствия руки и заглянул в мои карты. — Вот так, бабоньки, я вышел. Играйте. А ты им, внук, не поддавайся. Да не эту

кидай, ту — помелче. Так-то вас!.. — Он взял мою кружку и допил молоко.

Дед играл азартно. Радовался, когда выигрывал, а когда оставался в «дураках», тотчас умолкал и с трудом перемешивал в огрубевших ладонях уже липкую колоду потрепанных карт.

— Уехал бы в город, — бабушка вернула разговор в старое русло, — и ей бы легче было. Все не на глазах. Каждый день не думала бы, каким сын с гулянки вернется, не сидела бы у окна. Хоть какая-то надежда была бы. Авось, хорошо живет. Может, в городе-то и одумался бы. Кто знает. Там — не у нас в деревне — ухо остро держать надо.

— Отстань! — у Нади даже карта из рук на колени выпала. — У меня вот в городе учится. И что? Оттого легче мне? Как же — легче. И я от окошек не отхожу, все гляжу — не идет ли. И по ночам не спится. О чем только не передумаю, чего только в головушку-то не взбредет! Нет, Анюха, уж пусть лучше рядом будет. Какой ни какой, а рядом.

— Вот как деточки-то даются, — согласилась бабушка, жалостливо посмотрела на меня и снова перекрестилась.

— А как поаукаешь им в детстве, — подытожил глубокомысленно дед. — Так они к старости и откликнутся. Так, Вовульк? Не будешь обижать нас с баушкой?

Я покачал головой.

— Вот и умница! — дед осторожно прижал меня к себе.

— Засиделись мы, не пора ли, мужики, домой, — бабушка подавила зевок и глубоко вздохнула. — А жалко Сашку-то, ой как жалко...

— Посидели бы еще, — встала из-за стола хозяйка. — Чайку бы попили...

— Спасибо, теперь наша очередь поить чаем, — бабушка подошла к печке и привстала на цыпочки. — Бабка Крестя, ушли мы. Отдыхай.

— Бегите, милые.

Мы выходим на улицу. Черно хоть глаз коли.

Дед разыскал фонариком пробор тропки, и мы, поскрипывая снегом, двинулись по ней к дому.

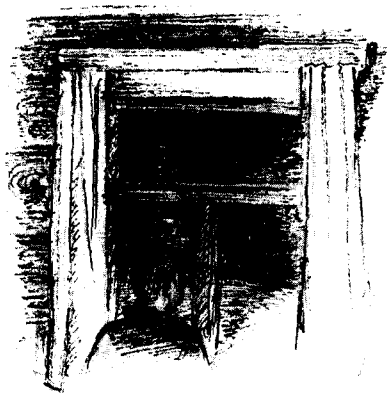
Я иду между ними и думаю о Сашке Потехине. А что как он не пришел еще домой и мамка его, Клава, сидит одна у окошка и плачет. Я почему-то верю, что все обойдется, и в армии Сашка обязательно исправится. Дед зря говорить не станет.

Подумал так и успокоился.

Какая темная выдалась ночь. На небе ни звездочки. В боковом окне у Марьи Васиной еще тлеет чуть живой огонек. Он совсем близко, но всего один на всю округу.

Свет от фонарика растерянно мечется впереди нас. Вот он выхватил из темноты заиндевелые ветки березы и отразился в крайнем окне нашей избы...





ПОЖАР

Ночью, сбив к ногам одеяло, я проснулся от холода. Деда рядом не было.

Открываю глаза и прислушиваюсь: за обоями шуршат мыши, а за окном, как лучина, потрескивает крещенский мороз.

На стене дрожит едва уловимый свет, но не такой, как от печки, когда ее утром топит бабушка. И ухваты не гремят, и чугуны не скрежещут по шестку, и ковш не бренчит о тару.

В избе затаилась тишина — вкрадчивая и тревожная.

Я не на шутку испугался.

— Баб, — робко позвал я и не узнал своего голоса.

В избе стало еще тише и напряженнее.

Я услышал, как на дворе глубоко вздохнула корова, а на печке с хрустом потянулась кошка. Что-то глухо упало в дальнем углу на подволоке, и внизу деревни суматошно залаяла Колькина Крошка.

Свет, шевелясь на стене, будто струился по черному с оленями ковру, медленно поднимался к потолку и превращался на желтых обоях в кипящие густые сумерки.

— Баб! — уже громче позвал я бабушку, приподнялся, скрипя пружинами, с подушки и с опаской стал оглядывать онемевшую избу.

Увидел окно и вздрогнул: на стеклах нервно бился свет от какого-то яркого небесного зарева.

Я весь напрягся и замер. Так страшно мне еще никогда не было.

И вот в опустевшей избе появились какие-то бестелесные человечки, обитавшие в нашем доме. Они выскакивали из-за печки и, как живые тени, сгорбленно прыгали у кровати. Они кривлялись передо мной, и я слышал их радостное хихиканье и торжествующий смех.

Из глаз тут же, без спроса, прорвались слезы, нос заложило, и страх перехватил горло.

Я видел их и раньше, когда просыпался среди ночи. Но за спиной деда мне не было так страшно, как сейчас, когда я остался с ними один на один.

Я неумело перекрестился, как учила меня бабушка, накинул на себя одеяло и уткнулся головой в подушку.

И так, затаив дыхание, лежал минут пять. Под одеялом для верности я перекрестился еще раз и высунул поверх его голову. В избе никого не было, а за окном трепетно и бесшумно, как цветная бабочка, бился о стекла крылышками и пластался об оконные переплеты неземной свет.

Свет властно притягивал меня к себе. Помимо воли я соскользнул босиком с кровати и подбежал к освещенному окошку. Пододвинул к нему стул, встал на коленки и прижался носом к слезящемуся стеклу.

Внизу деревни, над Колькиным домом, там, где мы по весне жгли на пригорке чучело масленицы, стояло, искря и покачиваясь, невесть откуда взявшееся зарево.

Я подумал, случилось что-то ужасное, то, о чем я пока ничего не знаю, и чего никогда в своей жизни еще не видел.

Огромный костер то и дело выбрасывал над темными крышами изб змеевидные огненные язычки, будто зло огрызался и пытался кого-то смертельно ужалить.

Я смотрел на зарево, как замороженный, и никак не мог от него оторваться.

Под прокопченными сводами звездного неба, казалось, весело разгоралась только что затопленная и не закрытая заслонкой печка и отбрасывала жаркий свет на запотевшие окна.

Я даже чувствовал на своих щеках его ласковое тепло.

Но и тени, отброшенные деревьями на серый снег, и сам свет, игравший на гребешках крыш, и болезненное в ночи зарево — все таило в себе что-то пугающе зловещее.

На спине у меня веселились мурашки.

Не знаю, сколько времени я просидел у окошка.

Зарево постепенно таяло, как пламя в увернутой керосиновой лампе. И только снопы робких и будто испуганных кем-то искр еще нет-нет, да и взмывали в темную бездну неба, но мгновенно гасли над крышей Колькиного дома.

В чуть освещенном проеме деревенской улицы я вдруг увидел фигурки людей. Кто-то с ведрами в руках медленно поднимался из-под горы.

По хромой походке я сразу узнал деда и обрадовался — страха, как ни бывало.

Я смело соскочил со стула, забрался под остывшее одеяло и стал их с нетерпением ждать.

Вот заскрипел на крыльце снег, непривычно жестко зашаркали о приступки дедовы валенки и на лавке звонко брякнули пустые ведра.

В потемках дед нашарил варежкой дверную ручку и, пригнувшись, протиснулся в избу с облаком морозного пара. За ним, не нагибаясь, юркнула бабушка и шепотом прикрикнула:

— Не греми, сапогами-то, ребенок спит...

Дед неспешно рассовал по гарнушкам застывшие варежки, положил на край печки шапку и тут на него напал удушливый приступ кашля.

— Да тише ты — разбудишь, — опять грозно зашептала бабушка. — Нашел время...

Дед откашлялся и запоздало в полголоса ответил:

— Сама не греми...

Лежу под одеялом и не шевелюсь. Пусть думают, что сплю.

Но все же любопытство берет верх. Освобождаю голову и спрашиваю:

— Дюдь, а что там горело?

— Ну вот, — рассерженно вздохнула бабушка. — Разбудил-таки...

— А ты откуда знаешь? — удивился дед и, присев на кровать, подбил одеяло у моих ног и подвернул с боков.

— Я из окна видел.

Дед как-то тяжело помолчал, повернулся ко мне и тихо сказал:

— У Каюровых дом сгорел.

— Как сгорел? — не понял я.

— А вот так: вчера был дом, а сегодня от него одни головешки остались. Одно слово — пожар!

— Горе-то какое, — пристала к разговору бабушка и перекрестилась. — Матушка, Царица Небесная, помоги им, грешным, спаси их и сохрани.

Лежу и ничего не могу понять. Кажется, вокруг меня все вдруг за одну ночь переменялось.

Их дом стоит у меня перед глазами. Он такой большой и красивый с кружевными наличниками на окнах и с самой крутой в деревне лестницей.

Под окнами рябины и молоденький клен, в заулке на старой березе висят веревочные качели с деревянным сиденьем.

Я часто бывал в этом доме и теперь не мог даже представить, что у Вальки Каюровой его больше нет, и что я уже никогда, как прежде, не поиграю с ней в фантики.

— А где же она будет жить?

— Кто? — переспросил дед.

— Валька.

— На улице не останутся. В Сумароково уедут. А до утра — у Ермиловны.

Бабушка на кухне в который раз жалостливо вздохнула и вдруг озабоченно спросила:

— Затоплять что ли?

— Пора, — не глядя на часы, ответил дед. — А ты, Вовулька, спи, — и он стал тепло и уютно поглаживать шершавой ладонью одеяло на моей спине, да так любовно и старательно, как будто разглаживал под постилой сваленный им из шерсти валенок...

Но в эту ночь я уже уснуть не мог. Притворился, что сплю, и лежу под одеялом с открытыми глазами.

Еще никогда утро так долго не вызревало.

Украдкой время от времени я посматривал на окно. Ночные сумерки скрадывали свет и гасили его в темных углах зимовки.

Но вот, наконец, забрезжило, и, когда бабушка ушла поить скотину, я воровато соскочил с кровати, быстро оделся и, на ходу застегивая пуговицы, выбежал на крыльцо.

Открыл дверь и будто наткнулся на тишину. Она была такая же плотная и вязкая, как и ночью, когда я проснулся.

Я шел сквозь нее осторожно, не оглядываясь, как против ветра. Тишина цеплялась за полы моего пальто.

Утро было ленивое и как будто в чем-то виноватое. Уж лучше бы оно совсем не наступало.

У дома Глашки Мошковой снег вдруг померк. В него въелась сажа.

Вот изба Ермиловны. Здесь, как сказал дед, и приютилась до утра Валька Каюрова.

Смотрю в окна — огня нет. Поднимаю глаза — не видно и дыма над трубой.

А вот уже и угол Колькиного дома. Сейчас за ним откроется обшитый тесом дом Каюровых.

Он стоит у меня перед глазами. Я медлю, но иду вниз деревни. Внизу вся улица затоптана и вымазана сажей.

Дорога обледенела и стала похожа на коросту в желтых и грязных разводах.

Еще один шаг и она открылась — черная ошетилившаяся бездна.

Если б не увидел, никогда бы и не представил, как на месте дома дымятся сваленные в кучу обугленные венцы, а посреди пепелища сиротливо и уродливо торчит глиняный остов печки.

Я смотрел и не верил своим глазам. Казалось, что весь мир, так любимый мною, вдруг в одночасье рухнул и перестал существовать.

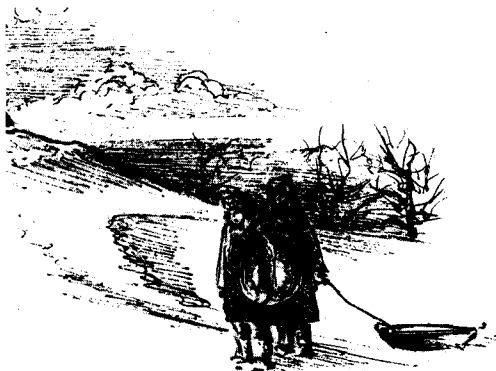
Под березой на снегу валялись разноцветные фантики, как заплатки лоскутного одеяла, разорванного вклячья.

Где же Валька? Наверно, в Сумарокове.

Это уже была другая деревня. Как будто не моя — с опаленной огнем кроной молодого клена и переломанным тычинником в сугробе.

Я не помню, как вернулся домой, как забрался на печку и как уснул на ней. Мне приснилось, что мы с Колькой рубим на краю деревни под старой яблоней маленький дом для Вальки Каюровой...





МАРТ

Вот уже и март на исходе. По утрам встает крепкий наст и вкусно хрустит под валенками.

Утром я достал с подволоки потускневший таз, смахнул тряпкой паутину и хотел уже идти, как вдруг на крыльце появился дед с самодельными лыжами под мышкой.

— Держи, — сказал он и бросил их на снег. — Катайся, пока не растаяло.

Лыжи, как настоящие. Носки у них заострены и слегка загнуты, в сырмятные мочки вдет веревка для завязки и посередине прибита резинка, чтобы не скользили валенки.

Даже не верится.

Встаю на них, и дед помогает завязать на валенках крепления из белой тесемки.

— Ну, пробуй, — подталкивает меня в спину. — Да смотри, не сломай.

Скольжу на прямых непослушных ногах и, как ворона, машу руками и качаюсь из стороны в сторону.

Навстречу идет Колька и тащит за собой серое корыто.

— А мне дедушка лыжи сделал, — кричу ему. — Гляди какие! Как магазинные, только некрашенные.

Колька не выразил никакого удивления и, не говоря ни слова, выломал из старого огорода две тычинины.

— Дашь прокатиться?

— Дам — только возьми у крыльца таз.

Колька положил мой таз в свое корыто и, громохая им, пошел впереди меня по укатанной санными полозьями дороге.

На горе уже катались на санках Тамарка с Ленкой. Увидели меня на лыжах и захихикали.

— Дорогу! — прикрикнул на них Колька и повернулся ко мне. — Ну, давай!

У Колькиного дома я, что есть силы, оттолкнулся палками, неловко забросил их под мышки, как делает Толя Куликов, и шумно со скрипом заскользил вниз к сгоревшей каюровской избе.

Лыжи не слушались, скрещивались и приплясывали на ледяных коростах. Вдруг словно кто-то потянул меня назад. Я уперся носками в мочки, весь напряжился, но не удержался и, съехав к краю дороги, упал боком на жесткую бровку, перевернулся и с головой зарылся в сугроб.

— Ты чево? — подбежал Колька. — На, держи, — протягивает мне руку. — А теперь дай я попробую.

С его помощью я поднимаюсь, распутываю на валенках тесемку и с легким сердцем уступаю Кольке лыжи. Чувствую, что в боку у меня что-то покалывает.

— Вовка хвостун! — кричит с бугра Тамарка и смеется.

— А ты модница! — отвечает ей Колька. — Среди куриц хороводница.

— А ты Коля-дроля — канавина у поля.

Колька подбегает к Тамарке и толкает ее в сугроб. Тамарка машет кулаками и забрасывает Кольку снегом. Ленка стоит в сторонке и в перепалке их никак не участвует. Она тоже видела, как я кувыркнулся с лыж и упал на бровку, но не засмеялась, как Тамарка, а посочувствовала. Так мне, по крайней мере, показалось.

Тамарка на язычок острая. И вообще, она вредная — не то что Ленка.

— У, дура, — ворчит, отплеываясь, Колька, — токо подойди! — хватает комок мерзлого снега и кидает в нее, потом поправляет на голове шапку и, прихватив лыжи, поднимается на бугор.

В отличие от меня он съехал по дороге до самого поворота и не упал. Колька и на лыжах оказался ловчее...

Накатавшись на новых лыжах, мы вспомнили о тазе и корыте. Солнце уже припекало, и надо было успеть покататься, пока не осел наст.

— Чур, ты съезжаешь первый, — как всегда, опередил меня Колька. — Я за тобой.

— Давай вместе, — не споря, предложил я.

— Не, давай ты. У меня корыто. Что легче?

Я не без страха поставил таз на край обрыва и, зажмурив глаза, оттолкнулся рукой от замерзшей тропки.

Таз мой крутнулся на месте и с легким скрежетом зашуршал по насту.

В ушах зашумел ветер.

Я испугался и стал судорожно тормозить, но варежки беспомощно скребли по шершавой жесткой корке и даже сквозь шерсть обжигали пальцы. Колкая снежная крупа слепила глаза и остро секла щеки.

Меня развернуло лицом к пригорку и я, не зная, как остановиться, в страхе вывалился из таза перед крутым спуском к реке.

Таз, крутясь по насту, как волчок, и подпрыгивая на бугорках, звонко и легко заскользил вниз по склону безмолвного холма.

Я лежал на спине и слышал, как смеялся вверх Колька и стучал от радости по корыту палкой.

Я встал, погрозил ему кулаком и пошел под гору.

Потом обернулся и увидел, как, тормозя валенками, Колька осторожно съезжал с ледяного искрящегося на солнце пригорка и, как вожжами, размахивал над головой веревкой.

— Еге-гей! — заливался он во весь голос.

— Угу-угу... — передразнивая, крикнул в ответ я.

Но снег под ним шуршал так шумно, что Колька не слышал меня...

День выдался ясный и по-весеннему просторный.

Морозец уже не щипал нос, как в январе, а солнце, отражаясь от снега, слепило до рези в глазах и обдавало щеки долгожданным теплом. Оттого и румянец у Кольки выступил на них свекольно-сочный. Свой, бледно-розовый, я увижу лишь вечером в тусклом зеркале при свете керо-синовой лампы.

— Поскорей бы водополь, — говорю я.

— Всему свое время, — по-взрослому отвечает Колька.

Он вообще во всем подражает отцу. Даже ходит вразвалочку на полусогнутых ногах и также звучно шмыгает носом.

— Мне мамка купила новые резиновые, — похвастался он, — черные и блестящие. И голенища высокие — не как у твоих...

— А мне тоже купят, — соврал я ему.

Оступаясь на обледеневшей горке, мы с ним с трудом взобрались вверх. Я держал таз в руке, а Колька тащил свое корыто за веревку.

Весенний день набирал силу. К обеду снег обмяк, наст перестал держать, и мы разошлись по домам.

Иду по деревне и вдыхаю запах унавоженной лошадьми дороги.

Знакомые вороны, как пепельные курицы, сидят по ее краям и ворошат костяными клювами конские катыши, не обращая на меня никакого внимания.

Я уже во всем чувствую весну и узнаю о приближении ее по известным мне приметам.

В заулках пилят и колют дрова. Терпко пахнет кислыми опилками и смолой.

Вся дорога у дома Марьи Цветковой припорошена зеленоватой трухой. Вчера здесь взвешивали и развозили

по дворам сено, свезенное с ближних и дальних лесных делянок.

За деревней на белом поле, как на пироге, выступили и заблестели маслянистые пятна. Оттого и было оно похоже на пряженец с золотистым и жарким отливом, особенно в синих вечерних сумерках.

На гладких еще вчера спинах сугробов, сгорбившихся у изгороди, тоже высыпала сахаристая смерзшаяся корочка, взрылленная неутомимыми лучами.

И с неба уже спала белесая пелена морозной дымки и на нем проступила чистая атласная синь. Вот и сейчас она радостно плещется в прозрачных кронах кленов и берез.

Даже свет под окнами дома и тот, мерцая, струится из-под снега тонкими, как будто льняными, волокнами.

Весна напоминает о себе и в избе.

Дед еще в феврале поставил в старую глиняную кринку веточки тополя, похожие на куриные ножки. Клейкие почки цвета темного пасхального яйца набухли и, дразнясь, высунули на волю нежные зеленые язычки.

У крыльца обтрепанным голиком сбиваю с начеса мерзлый снег, отряхиваю варежкой пальто и захожу в дом. С порога в нос бьет запах йода и травы и сладко кружит голову.

Прикладываю щеки и ладони к теплой печке. Снег на штанах тает и каплями по ворсинкам скатывается на крашеный пол.

— Скорей бы водополь! — вздыхаю и слышу из кухни голос бабушки:

— Вовульк, разоболокайся — иди ешь...





МАСЛЕНИЦА

Проснулся от сладкого запаха блинов. Сегодня масленица.

Не умываясь, подскочил к столу, оторвал от желтого ноздреватого блина коричневую подгоревшую корочку и с аппетитом ею захрустел.

— А ну-ка быстро умываться!

Бабушка смазывала черную сковороду пестрым куриным перышком. Масло шипело и, пузырясь, с дымом разлеталось по ней белыми водянистыми шариками. Потом из зеленой кастрюли зачерпнула деревянной ложкой жидкое тесто и разлила его по раскаленной сковороде. Блин заискорчал и, пропитавшись маслом, из белого превратился в золотистый.

Я протер глаза ледяной водой, обмахнул лицо вафельным полотенцем и жадно набросился на блины.

— Не торопись — подавишься, — бабушка подлила в блюдо растопленного в печке масла. — Не жадничай — не убегут...

После завтрака быстро одеваюсь, беру на крыльце с вечера приготовленные для костра сухие веники и бегу к Кольке.

Солнце сияло во все небо и отраженное крахмально чистым снегом слепило до рези в глазах.

Тени от берез, домов и столбов, синие и сочные, исполосовали и испятнали всю деревенскую улицу, и они тоже, казалось, источали уже не зимний, а сквозной весенний свет.

На душе было весело и празднично!

На пригорке, в самом низу деревни дядя Толя раскладывает на снегу костер.

Колька стоит рядом и кольцами сдирает с березового полена пятнистую бересту. Шелковистая шелуха от нее прилипла к его мокрому подбородку и белела тонкими ленточками на черном козырьке шапки.

Я подошел и положил на осиновые дрова два своих полюблевших веника.

— А чего не здороваешься, — дядя Толя исподлобья посмотрел на меня и с хитринкой улыбнулся. — Али баушка не научила?

— С праздником всех! — поприветствовал я и стал валенком отгребать от костра рассыпчатый снег.

С горы спускались девчонки. Ленка несла пачку газет, а Тамарка волокла по тропе обломок жерди.

— Ну, все, бегите с невестами по избам и запасайтесь дровами, — выпрямляется, побряхтывая, дядя Толя, — а я пойду на конюшню запрягать и наряжать лошадь...

До обеда мы бегали по деревне, стаскивали и свозили на санках к костру все, что нам давали хозяева. Кто прошлогодние веники, кто вязанку дров из поленицы, кто охапку соломы со двора, а кто поношенные тряпки — наряд для Масленицы.

Угощали и блинами. Мы не отказывались.

А в красный сатиновый мешок складывали сладкие подарки — шоколадные конфеты и карамельки, сдобные витушки и пирожки с начинкой, леденцы и фруктовый сахар.

Вечером у костра будет, чем полакомиться!

После обеда встречаемся уже у конюшни.

Запряженная в сани Цыганка в нетерпенье месила копытами грязный снег. В гриве у нее краснел атласный лоскут. Под дугой поблескивали медные бубенцы.

И сам дядя Толя в сером ватнике был перепоясан желтым кушаком.

— Ну, сядоки, прыгай по одному, — строго сказал он, и мы с разных сторон полезли в сани.

Дядя Толя причмокнул губами, подергал вожжами и сани со скрипом тронулись с места.

И как только Цыганка выправила из рыхлого снега на укатанную зимнюю дорогу, сани по ней заскользили легко и под нами весело заскрипели обитые железом полозья.

Дядя Толя раскрутил над головой вожжи и подхлестнул ими Цыганку по лоснящимся на морозце бокам. Лошадь в ответ недовольно фыркнула, сменила ногу и, почувствовав ход, резко подалась вперед по знакомой ей деревенской улице.

И вот уже ничего не слышно, кроме скрипа саней да гулко и надрывного лошадиного хрипа.

Мы жмуримся от ветра и прикрываемся руками от летящего из-под копыт жгучего и колкого снега.

— Э-э-гей! — кричит Тамарка. — Здравствуй, Масленица!

— Э-э-гей! — я бросаю в нее снегом.

Тамарка смеется и, выхватив из-под Кольки клочок сена, бросает в меня, но ветер подхватывает его и разносит по полю.

Внизу на крутом повороте сани начали крениться набок, и у меня от страха перехватило дух. Снова вспомнил, как несла нас с горы бабушкина Майка.

Мгновенье и мы бы сейчас тоже могли вылететь в сугроб.

Дядя Толя и сам, похоже, испугался, резко натянул вожжи и осадил разыгравшуюся Цыганку.

Звякнула о зубы железная уздечка, и лошадь неохотно, но покорно перешла на нервный шаг. Сани натужно и со скрипом ударились о дорогу.

Мы растерянно посмотрели друг на друга, но, почувствовав под собой землю, закричали громче прежнего:

— Мас-ле-ни-ца!

И только сейчас, чуть успокоившись, я услышал не только себя, но, кажется, и звон зеленоватых на ольхе сережек, и набат столетних на Мысовке елей, усыпанных коричневыми шишками.

Даже Гремячка на вымоинах и та подала из-под снега звонкий серебристый голосок...

Мы еще раз объехали деревню и на пригорке высыпали из саней. У костра стояли взрослые и ждали нас, чтобы поджечь под ним облитую керосином солому.

Над костром возвышалась Масленица, похожая на огородное пугало, только не в грязных лохмотьях, а в праздничном наряде из старых женских платьев.

Спичку в костер бросил дядя Саша Цветков, наш сосед. Огонь жадно набросился на сухие листья и, потрескивая, они, как раскаленные снежинки, взлетали в небо и таяли в клубах бело-голубого дыма.

А мы, замороженные им, бросаем в костер веники и прыгаем вокруг, увертываясь от горящих хлопьев.

Пламя металось из стороны в сторону. И так яростно, что мы, прикрывая глаза ладошками, пятились от него на самый край откоса и падали с него вниз.

Даже старая яблоня, казалось, тянула к теплу корявые ветки, а на черном колодезном срубе выплывали отблески праздничного огня.

Безудержное веселье овладело всеми.

Взрослые и те прыгают через костер.

Я толкаю в снег Ленку Семичеву и сам, как будто невзначай, падаю в сугроб рядом с ней. Уж так хотелось мне поцеловать ее в румяную от огня щеку.

Но упал как-то неловко и больно стукнулся носом о ее висок. От Ленки пахло дымом и конфетами.

Она с криком вскочила и забросала меня теплым снегом.

А я смеюсь. Мне так не хочется, чтобы праздник не кончался.

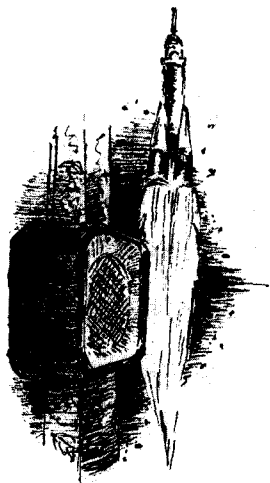
Но подкрались по-воровски густые мартовские сумерки. Снег почернел, костер осел, а пламя его лениво и сонно перебиралось с головешки на головешку.

Пришел дядя Толя Осипов и забросал остатки костра снегом.

— Всё, Масленицу проводили — пора домой!

Прощай, масленица! Прощай до будущего года! — кричим мы, поднимаясь в гору...





ЧУДО

В простенке над комодом у нас висит радио. Маленький ящик в красной деревянной оправе с желтым матерчатым кружком посредине.

Человека нет, а я его слышу.

Правда голос его часто меняется. Утром сипит, как охрипший. Днем трескуче шелестит, а вечером переходит на вкрадчивый шепот.

А вчера радио умолкло совсем. Я так расстроился, что залез на печку и украдкой поплакал.

— Почему оно не говорит? — спросил у деда.

— Провода ветром захлестнуло, — спокойно ответил он. — Завтра починят.

Когда я остался один, то не удержался, подошел к нему ящику и постучал о тряпицу пальцем — тишина.

Я подал в таинственный кружок свой голос, но из него никто не отозвался. Говорящие люди как сквозь землю провалились.

Тогда я снял его со стены и рассмотрел с обратной стороны, но, кроме запыленного картона и железного блюда с проводами, ничего там не нашел и не увидел. Чудо да и только!

Я уже так к нему привык, что без него чувствую себя в избе одиноко и сиротливо.

В это апрельское утро я проснулся ровно в шесть. По радио, включенному на полную громкость, заиграл любимый мною гимн.

Я так обрадовался, что соскочил с кровати и, обжигая на полу босые ноги, подбежал к бабушке и, запрыгнув к ней на колени, крепко обнял за шею.

— Слава Богу, починили! — шептал я. — Они к нам вернулись!

— Кто? — с удивленьем спросила бабушка.

— Да они же — живые человечки!

— Какие человечки?

— Живые, которые сидят у нас в радио!..

— А-а, — облегченно вздохнула бабушка и поцеловала меня в лоб. — Иди-ка, лучше спать, живой человечек...

Она взяла меня на руки и перенесла в кровать.

Гимн отыграл, а я, закутавшись в одеяло, лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок и слушал голос человека из другого неведомого, но родного мне мира.

Повернулся на бок и посмотрел на бабушку. Она чистила картошку, а на лице отражались живые язычки печного пламени и будто подкрашивали ее бледные щеки.

Дед с четырех часов утра стирает в бане валенки, а я лежу и ничего не делаю.

Нет, подумал, надо вставать и снова соскользнул с кровати, смочил глаза ледяной водой из умывальника, стряхнул, не вытирая, руки, и сел у окна. Уперся локтем в подоконник, подпер ладошкой подбородок и смотрю на улицу. В саду, куда выходит окошко, только-только начинало угадываться утро.

Я так сижу каждое утро и смотрю, как в ночных еще сумерках закипает свет нового дня.

Неожиданно голос человека, говорившего из радио, изменился — стал какой-то радостный и торжественный.

— Человек в космосе! — только и смог я из всего им сказанного повторить вслед за ним. — Человек в космосе...

Я не знал, что такое «космос», но понял, что он где-то очень высоко над землей — за облаками. И что именно туда, куда не долетают даже птицы, и взлетел сегодня ночью человек, покружил над землей и вернулся обратно.

Какие же сильные и большие надо иметь крылья, чтобы так высоко подняться и сколько сил, чтобы не устать и не упасть!

Я видел, как летом парил над нашей деревней безмолвный и хитрый ястреб. Вот так, наверно, парил над землей и он, человек, научившийся летать.

Имя его я запомнил сразу — Юрий Гагарин.

Я даже вспомнил песню про какую-то гагару.

Ее пел Коля Михайлов из Соломинина, когда приходил к нам лечить корову.

От него самого и от его одежды всегда пахло лекарствами, а кожа на толстых ворсистых пальцах, пропитанных йодом, была ядовитого желтого цвета.

Бабушка потчевала его вином, и он, захмелев, самозабвенно за столом пел и плакал.

Может, сын этой самой Гагары и летал в космос?

Я посмотрел на бабушку. Она сидела на табуретке, голову склонила чуть на бок. Из-под платка, сдвинутого на затылок, будто шевелилось огненное от печного жара ухо и к чему-то напряженно прислушивалось. А с лезвия ножа падали на пол мимо помойного ведра картофельные корки.

— Когда вырасту, я тоже полечу в космос? — сказал я, наклонившись над ее чутким ухом.

Бабушка вздрогнула и трижды кратко перекрестилась.

— Господи! Спаси его и сохрани!..

— Куда ты-то собрался?

— В космос.

— Ну-ну, не ноне ли? Летал бы пока с печки на полати...

Из бани вернулся распаренный дед. Под мышкой он держал два новеньких валенка. На них, еще не остывших, путался белый парок.

— Случилось что? — спросил дед, увидев нас с бабушкой и почувствовав что-то неладное.

— Человек к Богу слетал, — ответила ему бабушка и, думая о чем-то своем, булькнула в чугунок очищенную картофелину.

— Куда слетал? — не понял дед.

— В космос — вот куда. По радиу передали...

Дед молча подошел к приемнику и прибавил звук. Музыка почему-то сразу умолкла, а радио зашипело. Не сломалось ли, подумал я, но через минуту знакомый голос, как будто специально для деда, так же радостно и торжественно сообщил и ему о том, о чем мы с бабушкой уже давно знали.

— Неужто, правда? — сокрушалась бабушка.

Дед подошел к окну и посмотрел на небо. На улице брезжил вялый и робкий свет наступающего утра.

Я тоже поглядел на небо, но ничего, кроме рваных текучих облаков, не увидел. Из рта у меня вырывался парок и тут же застыл на мокром стекле белесым туманным облачком. Изба за ночь выстыла.

Дед молча оторвал листок от численника, скомкал его в кулаке и только после этого сказал:

— Двенадцатое апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года...

— Чего бубнишь-то? — сердито переспросила бабушка. — Говори громче-то!..

— Да ведь сегодня у мамки твоей день рожденья! — дед приобнял меня и поцеловал в затылок. — А это, знать, такой подарок ей — от самого Юрия Гагарина!

— Мыслимо ли дело, — не унималась бабушка.

Она вытерла о подол платья руки и снова уперлась лбом в оконное стекло, вглядываясь в затянутое тучами небо.

— Господи, помоги ему, — сокрушалась она и качала головой.

— Вот тебе и Господи, — глубокомысленно вздохнул дед и увернул под потолком керосиновую лампу. — Ай да человек! Вот ведь какое хитрое удумал дело...





ВОДОПОЛЬ

Еще неделю назад река покоилась под толщей снега, а сегодня уже по всему руслу она испятнана серо-голубыми и зеленоватыми разводами. С угора в тихую погоду слышно, как в черной полынье, где зимой деревенские женщины полощут белье, журчит повеселевшая вода.

Даже не верится, что река когда-нибудь сможет освободиться из ледяного плена. Такие вокруг нее метровые залежи спрессованных снегов!

Но каждый день солнце упрямо подтачивает, рыхлит и сгоняет снег: сначала капелью с крыш, потом ручьями с полей, и вот, наконец, наступает долгожданное утро, когда мы с Колькой выходим за деревню в гумно и смотрим с самой высокой точки холма на разлившуюся в низине речку.

Колькины резиновые сапоги еще не потеряли свой магазинный блеск. На их голенищах пусть и мутновато, но по-настоящему отражается солнце.

На моих стареньких — нет...

Вода, отшумев в овраге и отбурлив за Мысовкой, смиренно успокаивается у моста, где наша Гремячка соединяется с соломининским Водышем. Вода, уже не бурлящая, а желтая с рваными лохмотьями мыльной пены начинает нервно ходить в низине большими и малыми кругами между

нашим холмом и сумароковским. Только по ее плавному течению и угадывается летнее русло реки.

Над ней качают макушками кусты измочаленной бредины, и серый ольшаник трусливо приподнимает над грязным потоком худосочные ветви.

— А мост, наверно, опять снесло, — говорю я.

— А то нет, и лаву тоже смыло, — без тени сомнения подтверждает Колька и вскидывает руку. — Гляди — там целое море!

Я и без него — насколько хватает глаз — смотрю в сторону Ивашева.

За Исаковским холмом, где мы летом пасем скотину, открывалась взгляду широкая водная гладь. Подсвеченная солнцем, она напоминала горячую дымящуюся пенку в огромной кастрюле с топленным молоком. А когда солнце скрывалось за тучами, в ней отражалось небо, и тогда гладь меркла и стекленела.

Большую воду в нашей лесной стороне мы с Колькой видим только раз в году — весной.

Летом в Гремячке воробью по колено, а деревенский пруд в жару и вовсе пересыхает. Если когда и удастся нам вволю поплескаться, так это после столбового июльского с грозой ливня. И то в канавах да лужах.

Потому так и радуемся ей в водополь и так ею любимся. Вода завораживает нас и волнует.

— Давай спустимся вниз, — предлагаю я. — Отсюда плохо видно.

— Пошли, — соглашается Колька.

Весь склон сочится водой. Идти скользко.

Кажется, солнце, упав на землю, разбилось вдребезги, а в прошлогодней склизкой траве кишмя кишат золотые головастики.

Десятки ручейков вслепую бегут под гору наперегонки друг с другом, тонюсенько воркуют у нас под ногами и шевелятся вокруг, как водяные щупальцы.

По дорожным колеям басисто журчат набравшие силу полноводные ручьи и несут на своих упругих спинах веселые семейки солнечных зайчиков.

В больших канавах, похожих на овражки, захлебываются и шумят уже маленькие речушки. На крутых перепадах над ними висит и парит облачко искрящихся брызг.

Мы звучно шлепаем по воде, и в грязи сапоги наши смачно чавкают.

Солнце припекает. Колька снял шапку, и его колючая челка на солнце стала совсем рыжей.

— Простудишься, — оговариваю его.

— Сам берегись, — отвечает он и расстегивает пуговицы на сером ворсистом пальто.

Я тоже сдвигаю шапку на затылок и чувствую, как свежий ветерок, щекотя, пересыпает на лбу мои легкие волосы.

Мы остановились на бугре. Под нами таинственно гуляла грязно-желтая, как в луже после дождя, весенняя вода.

— Здорово! — не скрывает своей радости Колька, поднимает с земли палку и, размахнувшись, бросает вниз.

В воде и без нее чего только не плавает — травяные плети, сучья и коряги, даже бревна.

Вся низина затоплена

— Долго, — спрашиваю, — не спадет?

Колька не слышит меня. Он будто заворочен крутящимися воронками и удивленно хлопает сивыми ресницами. На носу у него высыпали мелкие капельки пота.

В водополь мы неделю, а то и две живем, как на острове, и ждем, когда спадет вода, и мужики наладят лаву. Не пройти ни в Сумароково, ни в соседние деревни — Шелки и Соломино. Их тоже отделяют от нас разлившиеся до белого кипенья и до свиного уханья овражные и лесные реки.

— Был бы у нас корабль, — толкаю в бок Кольку, — сели бы на него и поплыли к синему морю...

— Давай построим, — соглашается он. — Может, хоть до Ивашева доплывем...

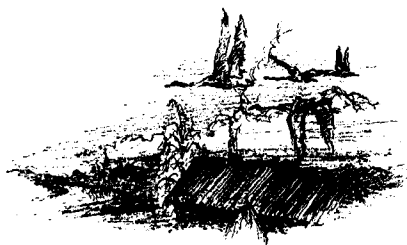
— Сейчас уже не успеть, — вздыхаю я. — Если только на будущий год.

— Тогда на будущий...

Мы стоим на бугре, не замечая времени, и молча смотрим на воду. А она все прибывает и прибывает.

У подножья холма пузырится ноздреватая пена и клочками цепляется за ольховую поросль.

— Во-ва-а! — доносится с холма голос моей бабушки. — Идите домо-ой...





ПОДСНЕЖНИКИ

Утром я собрался идти к Кольке, но бабушка сунула мне в руки глиняную плошку с пшенкой и сказала:

— Сходи-ка, покорми куриц, а то я не успеваю...

Выхожу на крыльцо. На улице зябко и ветрено.

Голые ветки рябины вкрадчиво скребутся по оконному стеклу.

По небу почти над самыми крышами ползут из-за леса рваные включенные тучи.

По неприбранному заулку бродят курицы. Пестрый петух, увидев меня, сразу насторожился, оглядел несущек и свысока грозно на них прококотал.

За зиму на крупе да хлебе курицы поизбаловались и землю оттаявшую ковыряли брезгливо и без охоты.

Бросаю горсть пшена на дощечку. На дробную его россыпь курицы, как по команде, припустили со всех ног к крыльцу и вразнобой застучали по серой фанерке желтыми клювами и зацокали по ней мутными коготками.

Ветерок ворошил и перебирал на их взъерошенных спинах белые накрахмаленные перышки, а над землей краснели бледные после зимы и озябшие на ветру резиновые гребешки.

— Куры, куры, куры, — стою на приступке крыльца и по-взрослому с ними воркую.

Фанерка быстро опустела, и курицы, поуспокоившись, старательно искали пшено уже вокруг нее.

Из такой же крупы бабушка и для меня варит по утрам маленький горшок каши. Его мне хватает на целый день.

Я отнес в избу пустую плошку и, сказавшись, снова выскочил на улицу.

Мне не терпелось поиграть с машинкой.

Дед подарил мне ее на день рождения. Мы теперь играем с машинками каждый день — то буксуем на бугре у Колькиного дома, то месим грязь у нашего пруда.

Вчера, вымыв машины, мы поставили их на стоянку под березой у нашего палисада.

Когда я выбежал из калитки, то не поверил своим глазам — машинок под березой не было.

Я огляделся и, увидев на скамейке Колькину машину, облегченно вздохнул. На крыше ее кабины блестели мелкие капельки ночного дождя.

— А где же моя? — чувствую, как слезный ком с болью подкатил к горлу и перехватил дыхание.

Моя валялась под скамейкой. Кабина смята и кузов искорежен.

Смотрю на машинку и плачу.

Кто-то переехал ее телегой. Вот он и след от колеса.

Еще никогда мне не было так обидно за себя. Почему именно моя машина, а не Колькина попала под тележное колесо? Ну, почему? Уж лучше бы тогда обе. Так было бы справедливее и никому бы не было обидно. Нет, Колькина красуется на скамейке — целехонькая, а моя в лепешку смятая корчится под скамейкой.

И до того горько сделалось у меня на сердце, так жалко мне стало самого себя, что я не выдержал, схватил с земли суковатую палку и начал что есть силы бить по Колькиной машине.

Я уже не понимал, что делаю, но с каждым ударом у меня прибавлялось сил. Я остановился, когда машина упала со

скамейки и перевернулась вверх колесами. Для верности я стукнул по ней еще два раза и, отбросив палку на дорогу, с испугом посмотрел по сторонам. На улице никого не было.

Колькина машина, еще минуту назад сверкавшая, как новенькая, теперь лежала рядом с моей — такая же измятая и разбитая. Под зеленой краской — в трещинах и вмятинах — холодно светилось голое железо, и только одно переднее колесо у нее еще крутилось с противным ржавым скрипом.

Равнодушно смотрю на него и уже ни о чем не жалею.

Сапогом затолкал машины под скамейку и, не глядя под ноги, устало побрел по скользкой тропке вниз деревни к Колькиному дому.

Иду мимо изб и кажется, что из всех окон тяжело смотрят мне вслед и, осуждая, укоризненно качают головой знакомые мне люди.

Опускаю глаза и чувствую, как будто огонь опалил мое лицо. Жар, обжигая, пробежал по всему телу. Воровато оглядываюсь. Хорошо бы никого не встретить. Только сейчас начинаю понимать, что я натворил. Мне и самому себе не объяснить, как это могло случиться. Как же я буду смотреть в глаза Кольке? Господи, прости меня...

Кольку я нашел на задворках у бани. В новых блестящих даже в серую погоду сапогах с высокими голенищами он измерял наполненные водой канавы. По весне мы с ним всегда обходим их и знаем примерно глубину каждой, но не было случая, чтобы кто-то из нас не зачерпнул в сапоги воды.

— Тише, — Колька стоит посреди небольшой ямы и, боясь оступиться, нащупывает ногой дно. В темной зеленоватой воде на мелкой ряби расплывчато отражается его бледное лицо.

— За подснежниками-то пойдем? — напоминаю ему о нашем вчерашнем уговоре.

— Да тише ты, — он искоса взглянул на меня и погрозил кулаком.

Вода уже подступала к краю голенища и, казалось, вот-вот захлестнет через него.

Колька осторожно пятится назад и сердитый выходит на берег.

— Сам-то попробовал бы, — обиженно буркнул он, шмыгнул носом и сдвинул на затылок шапку.

— Так пойдем или нет, — переспрашиваю у него.

Колька не ответил, развернулся на каблуках и молча зашагал под гору.

Я виновато последовал за ним. Шел и вспоминал разбитые машины, но говорить про них Кольке не решился. Да, и как сказать?

К роднику спускаемся не по тропе, а по крутому и скользкому склону. На дне его даже в солнечную погоду всегда сумрачно и прохладно, а в жаркую и ветреную — сыро и тихо.

Куда ни посмотришь — везде следы бурно отшумевшей реки.

Берега её будто вылизаны.

На низких кустах, прижатых к земле, висят спутанные травяные плети.

Между камнями торчат застрявшие коряги и сучки, опутанные сеном и припорошенные песком и древесной трухой.

В самой низине вязко и студенисто стынет еще не отслоившаяся пепельно-серая шоколадного цвета грязь.

В глубоком овраге пахнет стылой водой и прелыми листьями.

Мы стоим у родника. Колька подставил под его серебряный язычок свой блестящий сапог и смывал с него мутную жижищу, а я на вред ему перегородил ладошкой склизкий от зеленой тины деревянный желобок, и вода заплескалась через край.

В ледяной воде пальцы мои тут же заломило. Я резко, как от огня, отдернул руку и засунул её под пальто.

— Ну, и где твои подснежники? — огляделся вокруг Колька. — Что-то не вижу.

— Смотри, — показал я рукой на склон. — Вон они.

— Где? — Колька сощурился и, ничего не увидев, развернул ступни и стал лесенкой пониматься вверх.

Я пошел в противоположную сторону. Над мокрыми и вялыми листьями у самых корней деревьев тут и там синели хрупкие цветы, похожие на струйки печного дыма.

Вроде и запаха от них не было, а голова у меня закружилась.

Я нагнулся и потрогал подснежник ладошкой. Настоящий!

Провел пальцем по его нежным листьям и ворсистому стебельку и будто почувствовал живую дрожь.

Потом перешел к другому цветку, потом к третьему.

Цветы, будто осмелев, стали всё чаще и чаще попадаться мне на глаза и даже распрямились над мертвыми листьями.

Колька уже давно нарвал целый букет, а я все стоял, увязнув в глине, и боялся ненароком погасить над землей это сказочное сине-фиолетовое мерцание.

Я бы и не стал их срывать, если б не обещал Ленке.

С букетами мы с трудом выбираемся из оврага и долго поднимаемся в гору по набухшему от воды лугу.

В деревне мы с Колькой попрощались. Я потупил взгляд и снова не осмелился сказать ему о наших изломанных машинах. Скажу завтра.

Перед тем, как идти домой, тайком пробираюсь на крыльцо Ленкиного дома и оставляю для нее на верхней ступеньке букетик подснежников — как обещал...

Уже и закат отгорел над дальним холмом, а я все сижу на пороге родной избы и слушаю, как шуршит о штакетник прошлогодняя крапива.

Точно так, как в марте метель шуршит по ледяной корке шершавого наста...



БАНЯ

Да здравствует банный день! Правда, люблю я не столько саму баню, сколько все то, что ей предшествует. В этот день и бабушка, и дед как будто преображаются. Дед в бане, а бабушка в избе. И все их привычные дела мне тоже видятся как будто со всем в ином свете.

Наша баня стоит в саду. Такая же, как у всех, но только в ней есть душ — один на всю деревню.

Дед приспособил под него обычный тазик. Припаял к нему трубку, а к трубке прикрутил консервную банку с дырками на дне и приделал медный кран. В таз наливаем воду и ставим его на два железных крюка, вбитые в потолок. Откручивай кран и вставай под россыпь теплого морозящего дождя!

Помыться с душем напрашивались и деревенские...

Баню топим по субботам. Я люблю банный день в любое время года. Даже в хмурую погоду в избе всегда светло и празднично.

Дед и в эту апрельскую субботу с утра управляет в бане. Выгребает угли и сыпает их в жаровню, моет с песком черные от краски котлы, выметает мусор и в углах сбивает тряпкой осевшую после битья шерсти пыль.

Я помогаю ему. Мне очень нравятся банные запахи. Слышу их и вдыхаю: жженных кирпичей, когда приношу

с улицы дрова, запах кислой шерсти, когда вытряхиваю у печки из подола рубашки щепки и стружки, а запах серого мыла слышу, когда сижу на лавке у единственного в бане окошка и обдираю на растопку с березового полена шелковистую бересту.

— Вовульк! — окликнул из предбанника дед. — Пора веники припасать...

— Сколько? — уточняю на всякий случай.

— Как всегда — парочку.

Через двор перебегаю на мост и по лестнице поднимаюсь на подволоку.

Вообще-то, я побаиваюсь ходить на чердак один. По ночам там кто-то похаживает.

У нас очень большой дом. Под одной крышей баня, прикрывина, двор с сеновалом, чуланка, зимовка и летняя изба. Все его углы и за день не обойдешь. На дворе стоит корова Дочка. Вот и сейчас слышу, как она, отрыгивая, звучно жует душистое сено. Теленок Буянко пережил морозы с нами в избе, а теперь уже на воле обживает новую загородку. В омшанике дробят по полу неугомонные ягнята, и время от времени статная серая овца подает на них по-матерински сиплый, будто простуженный голос. Здесь же зимуют и куры с петухом. Ночью сидят на ольховых насестах, днем — на гнездах, свитых в сене или в коробках. Каждый день бабушка снимает от трех до пяти яиц. Во дворе стоит густой сладковатый дух, настоящий на сене и навозе.

Двор — это беспокойное и хлопотливое хозяйство бабушки, а под началом деда — прикрывина и баня.

А на подволоке пахнет пылью и мышами. Со стропил и жердей свисает серая зыбкая паутина, а в углах, где вповалку лежат кули с шерстью, мерцает в щелях и дырках бледный болезненный свет.

Под крышей дома и днем царит таинственный полумрак.

Из-за кулей, сверкая зелеными глазами, вышла Муська, и я сразу поуспокоился. Хоть одно живое существо рядом!

Взъерошенные веники парами висят на перекладине. Листья припорошены пылью. Кажется, что за зиму они так истосковались по кипятку! Снимаю одну связку и, не оглядываясь, спускаюсь по лестнице вниз.

В избе защекотали в носу запахи, любимые мною.

Бабушка истопила печь и напекла пирогов. Пряный дух витает по избе и возбуждает аппетит. Я не мог удержаться и, обжигаясь, взял из противня сдобную витушку. Ем и в сухоматку, и запиваю молоком, и макаю в сметану. Такая она вкусная!

Бабушка в передней обтирает тряпкой широкие листья фикуса. На вымытом полу радуются солнцу веселые половники, вытканые бабушкой. На столе торжественно красуется сложенное в стопку выглаженное белье.

Дед пришел из бани.

— Ну, внук, еще пять минут и баня будет готова! Бери белье и вперед...

И вот мы, наконец, идем париться — и не улицей, а через двор.

Бабушка доит корову и ласково приговаривает:

— Доченька, радость моя, стой. Вот умница. — Дочка размахивала хвостом. — Я тебе задам! Дубца захотела? Стой, тебе говорят!..

Бабушка, отбиваясь от хвоста, лупит Дочку по ноге.

— Стой, дура полубелая! Стой, ангел мой. Так-то вот, духонька моя.

Бабушка еще и нам вдогонку успевает крикнуть:

— Вы там шибко-то не жарчите! Слышите, что говорю.

Но жарко уже и в предбаннике, так что и нынче все двери придется ей после нас держать открытыми настежь...

В бане дед навел мне воду и поставил таз на лавку у окна.

— Слабовато, вроде, а, Вовульк? — поводит дед рукой у потолка. — Парку бы?..

Я мотаю головой. У меня и так дух перехватывает. Дышу, прикрывая рот ладошкой. Спину от жары окидывает озноб. Волосы на голове и те, кажется, шевелятся.

— Ну, тогда давай мыться...

— Ага, — киваю и подставляю голову под ковш с водой.

...Из бани выхожу чуть живой — нет никаких сил.

Дед помогает мне одеться, а сам уходит париться.

Я сижу и представляю, как сейчас он бросит на каменку три-четыре ковшика, залезет на полку и даст волю венику. Глаза помутнеют, тело порозовеет, и при свете керосинового фонаря заблестят на груди, как рыбы чешуйки, сердечки березовых листьев. Потом он обольется из кадки ледяной водой, и она зашипит на нем, как на каменке...

Когда вырасту, попарюсь так и я...

В избу возвращаюсь через сад. После бани и вечер кажется праздничным. Над дальним холмом занимается красный, как дедова спина, закат, а в низине между холмами курится сиреневый пар освободившейся после снега и пригретой апрельским солнцем земли.

Слышу, как у кустов смородины в домиках гудят отдохнувшие за зиму пчелы.

Я жадно втягиваю густые и сытные запахи оттаявших грядков и чувствую, как прохладный воздух приятно обволакивает мои голые плечи.

Господи! Как хорошо! Вздыхаю и смотрю на деревенскую улицу.

Такая она в синих сумерках тихая и такая родная.

Оставалась бы такой всегда...





СМЕРТЬ ПРАБАБУШКИ

Сегодня проснулся поздно, открыл глаза и увидел, как солнечные лучи, похожие на лучину, будто бы выстреливают на крашенных половицах желтую стружку. Правда, без завитков, не такую стружку, какая вьется из-под дедушкиного рубанка.

Тени от шаловливых листьев накрывают пол черной кружевной сеткой, и стружка, закипая под ней, превращается в горящие веселые угольки.

Долго лежу на кровати и люблю живую картину майского утра. Потом встаю, выпиваю из кринки голью молока и выхожу на улицу.

После ночного дождя с первой весенней грозой ласковое солнце заедино с упругим ветерком ворошит в заулке промытую до блеска густую и сочную траву-новину.

И каких только цветов и красок вокруг нет!

Блестят ребристые листья подорожника.

Качаются желтые взъерошенные папахи калужниц.

Пушата и распускают парашюты белые оперившиеся одуванчики.

Торжествует у самого крыльца темная бархатистая крапива.

В саду снежат бело-розовые яблони и пятнают черные грядки, опушенные нежной зеленью усатого укропа.

Под узорчатыми окнами избы над гребнем нового пахнущего еще смолой палисада по-лампадному тихо светится золотистая акация и, словно капельки воска, роняет лепестки на мокрую слюдяную кромку дороги.

Смотрю на все и всему радуюсь.

Вокруг меня кипит жизнь — бойко и празднично.

И ничто не может остановить ее, и никто не может ей помешать.

Нарядные кроны деревьев шумят на ветру, как пчелиные семьи, и в каждой из них слышен свой неповторимый голос.

На добродушной березе листья сухо шелестят, как крылышки стрекоз, а на строгом тополе они звонко плещутся и по-голубиному воркуют, на рябине шепчутся вкрадчиво и от удовольствия перебирают зелеными пальчиками, а на клене по-мужски здороваются и шуршат друг о дружку шершавыми ладошками.

Столько вокруг звуков и столько запахов!

Мимо выверенным курсом пролетают к домикам под яблонями груженные нектаром пчелы.

Над головой бестолково мечутся мухи и надоедливо зудят упрямые комары.

От медового запаха травы, листьев и цветов во рту сочится сладкая слюна, и голова идет кругом.

Я стою посреди заулка по колено в траве, лицо подставляю веселому ветерку и ослепительному солнцу и жадно вдыхаю очищенный грозой вкусный майский воздух.

За спиной голосисто прокукарекал петух, и мне показалось, что от его залихватского и разбойного крика я проснулся второй раз за это утро.

Я снял со штанетины кепку и пошел вниз деревни к Колькиному дому.

У избы Марьи Васиной меня остановила Лидья Мазова — Марьино сноха.

Она была под стать майскому дню в красном шелковом платье с белой косынкой вокруг шеи.

Лидья наклонилась ко мне и без обычной приветливой улыбки тихо, как будто по секрету, сказала:

— Иди домой, скажи деду, что Анна померла...

— Что сделала? — переспросил я.

— Померла, говорю, Анна — matka его...

Лидия развернула меня в сторону дома и подтолкнула в спину.

— Беги...

По Лидьиному голосу я почувствовал вдруг какую-то неясную тревогу и бросился бегом к дому.

Бабушка сидела в кути за кроснами и ткала половики.

— Баб,а баб, — выдохнул я с порога, но робко и с какой-то опаской, словно боялся чем-то ее расстроить. — Анна померла...

Бабушка молча опустила на полотно руки и ничего в ответ мне не сказала.

Я стоял рядом и тоже молчал. На моей штанине повис котенок. Я повалился на пол, посадил его на грудь и дунул ему в мокрый нос. Котенок фыркнул, вырвался и, как ни в чем ни бывало, стал лохматить у порога клубок с нитками.

Я встал, отряхнул штаны и хотел уже снова бежать к Кольке, но в избу с ведром прудовой воды вошел дед. За ним в открытую дверь шмыгнула с улицы Муська и напрямик кинулась на кухню.

— Матк, приходил кто? — спросил он и тоже как-то настороженно.

— Лидуха прибежала. Анна померла...

Дед глубоко вздохнул и положил мне на голову дрожащую ладонь. От нее привычно пахло краской и шерстью.

— Дюдь, — повторил я и ему, как велела мне Лидья, — Анна померла...

— Мамка моя, — дрогнувшим голосом обронил дед и по-детски залепетал побледневшими губами, — прабабушка твоя, Помнишь, на печи-то слепая сидела. Нет больше ее. Померла. Царство ей Небесное...

— А где она теперь? — осторожно, чтобы не обидеть деда, спросил я.

— Душа ее на небе, а тело на кладбище земле предадим...

— Дело, — закачала головой бабушка, — думай, что говоришь при ребенке-то...

Я почувствовал, как тяжелела на моем затылке дедова рука. У меня даже на загривке заныло.

Я вынырнул из-под ладони и присел у печки на маленькую скамейку, с которой бабушка ходит на двор доить корову.

От теплой печки на спине почему-то высыпал холодный озноб.

Дед ушел на кухню, загремел ухватами и забрякал умывальником.

Бабушка открыла ящик комода и начала, как обычно делает перед баней, выкладывать на стол стопками выстиранное и поглаженное белье. В комнате запахло нафталином.

Я понял — случилось что-то очень плохое и непоправимое и, чтобы не путаться у деда с бабушкой под ногами, убежал гумном к старому амбару на краю нашего сада и примостился на его исхоженный сапогами порог.

Я, конечно, ее помнил.

В летней избе она лежала в кути под лоскутным цветным одеялом. В зимней сидела на печке и слепо смотрела в стену, на которой у нас висел желтый коврик с черными рогатыми оленями.

По утрам, когда никого не было дома, она просила пить, и я подавал ей воду в зеленой кружке. Рука ее, обтянутая тонкой кожей, все время дрожала.

Анна была очень старая.

На ее землистом лице, когда она сидела, морщины собиравлись в складки и при свете были похожи на водяную рябь.

Только глаза у нее всегда источали синь, как две дрожащие под голыми бровями капельки светлой ключевой воды с отраженным в них небом.

Я побаивался бабуку Анну. Не знаю, правда, почему.

Она, сколько я помню, никогда не улыбалась, хрипло кашляла и почти всегда тихо и заунывно с дрожью в голосе стонала.

Однажды бабуку Анну увезли в больницу. Из нее она уже не возвращалась.

И вот ее не стало. Душа, как сказал дед, улетела на небо, а тело ее зароят в землю.

Неужели и бабушка моя, и дед тоже когда-нибудь вот также навсегда оставят меня, и я никогда их не увижу?

Майский день цвел и ликовал, но меня он уже так не радовал, как утром.

Я устал от щедрого света, сел на самый верхний порог и спрятался от солнца под козырьком амбара.

Равнодушный ветер пролетал мимо, набрасывался на лопухи и трепал их за широкие слоновьи уши.

Вокруг меня все как-то сразу завяло и померкло. Я смотрел в даль и ничего не видел.

— Во-ва! — услышал я голос бабушки, обрадовался ему, вскочил и так стреканул к дому, как будто за мной гнался кто-то злой и страшный.

— Мы скоро, — поцеловала меня у крыльца бабушка, и они с дедом через гумно пошли с кошелками в Сумароково.

Я долго с крыльца смотрел им вслед. Было такое чувство, что и они от меня тоже уходят навсегда.

Когда они скрылись из виду, я бросился за воротца и задворками побежал за ними. На верхушке холма у куста черемух остановился и стал смотреть, как они медленно в затылок друг другу спускаются к речке. Бабушка впереди, а дед, прихрамывая, за ней.

Я стоял на холме до тех пор, пока они не поднялись в сумароковскую гору и не скрылись из виду. Только после

этого, обреченно сойдя с тропы, я прямо по траве побрел обратно к дому.

В избе было тихо и сонно. Она будто осиротела, и я вместе с ней.

В углу на стене колосились часы. За перегородкой на столе блудила кошка.

Я лежал и разглядывал на стене фотографии. Они висели над кроватью в коричневых рамках, сколоченных дедом.

Стекла на них бликовали.

Вот бабушка с кружевным воротником поверх платья — молодая и красивая. Она и сейчас такая же. Только волосы без кудряшек и кожа на лице чуть-чуть потемнела. От загара, наверно.

Вот дед — строгий и остроносый в полувоенном кителе с петлицами на воротнике. Тогда он еще не хромал и работал в лесничестве. Дед тоже мало изменился. Разве только нос пообмяк, да волос на затылке поубавилось.

Нет, подумал я, они у меня еще не старые. Их душе рано отлетать на небо, они будут со мной и тогда, когда я вырасту.

Я вспомнил, как однажды бабушка, отругав пьяного деда, в сердцах сказала: «Живи, как хочешь, а я так больше не могу — завтра же уйду...»

В этот день я от бабушки не отходил ни на шаг. Боялся, что она вдруг и правда возьмет и уйдет. Что тогда будет со мной? Кто будет варить мне по утрам кашу? Привозить из Сусанина гостинцы? Нет, такого я себе не мог представить даже в страшном сне, от одной этой мысли у меня на глазах наворачивались слезы...

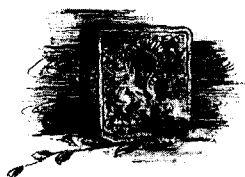
А вот Анна сегодня померла...

Я снова и снова повторял слова, услышанные утром от Лидьи Мазовой, и вдруг чего-то сильно-сильно испугался.

Мне стало страшно одному в пустой комнате.

Я заплакал и, озираясь по углам — не прячется ли кто? — опрометью выскочил на улицу.

День только начинался и обещал быть томительным и долгим...





ЛЕСНОЕ ЭХО

Через два дня бабуку Анну зарыли в землю. Похоронили, как сказал дед, когда они с бабушкой вернулись с кладбища.

На кладбище я никогда не бывал, но иногда дед брал меня с собой в Сумароково, и мы проходили с ним мимо старой церкви.

За красной кирпичной оградкой среди толстых тополей и густых кустов сирени и шиповника я видел деревянные кресты. На них висели увядшие венки, похожие на те, которые мне бабушка плела летом из васильков и ромашек.

В день похорон в избе, как на престольный праздник, накрыли стол, а меня бабушка отправила к Кольке.

Вернулся я вечером и сразу лег спать.

Утром после завтрака дед спросил:

— Пойдешь со мной?

— Куда?

— В лес.

В большом лесу я тоже ни разу не был. Мы с Колькой гуляли только по ближним ольховым перелескам около полей и недалеко от деревни.

— Дело ли придумал, — попеняла бабушка. — Куда потащишь ребенка? На съеденье комарам? У самого-то кожа толстая.

— Не у подола ли твоего до школы сидеть?

— А хоть и у подола — все надежнее, чем с тобой-то.

Пока дед с бабушкой препирались, я оделся и убежал на улицу.

Вскоре вышел дед, взял на завалинке заранее приготовленный топор, и мы пошли...

Утро выдалось хмурое, но без дождя.

Дед взглянул на небо и сказал:

— К обеду разгуляется.

Я тоже поднял вверх глаза, но, кроме туч, похожих на взбитую шерсть, ничего особенного не увидел. Лишь над горизонтом сквозь них, рассеянных ветром, проступали кое-где синеватые промоины.

Я каждое утро смотрел на большой лес, когда ел у окошка пшеничную кашу. Наша деревня перед ним была последней, а в деревне крайней была дедова изба.

Из окна казалось, что лес совсем близко. Сразу за конюшней.

Но мы прошли уже последние за ней амбары, а лес как стоял вдалеке, окутанный серой дымкой, так и стоит, ничуть не приблизившись к нам.

Наоборот, было такое ощущение, что лес от нас все время отодвигается.

Я забегал вперед, потом останавливался и поджидал деда. Он шел медленно, цеплял хромой ногой прелую солому и носком сапога то и дело сбивал с обочины подсохшие после дождя комки глины.

Среди зеленых полей проселок напоминал светло-коричневую ленту. По нему я добегал только до отворотки на Соломино. А дорога в лес уходила влево. По ней ездили редко, и потому в ее глубоких колеях стояла не грязная вода, как в лужах на проселке, а отстоявшаяся светлая. И цвет у дороги и ее обочин был уже темный — глиняный.

Ну вот, наконец, остался позади и последний осиновый перелесок, как шумный островок посреди вспаханного

поля. Перед нами непреступной стеной встал большой лес. Снизу стена окинута, как мхом, зеленой листвою, а сверху плотно сомкнулись устремленные в небо грозные ели-башенки.

Ближе к лесу дорога не так просохла, как на открытом месте.

Дед, опираясь на палку, подобранную еще у конюшни, с трудом одолевал разбитую и скользкую обочину. На его сапог навилась растрепанная плеть мокрой травы, и он никак не мог от нее освободиться.

Не дожидаясь деда, я добежал до скамейки и перед входом в лес замер как вкопанный. Разъезженную тракторами дорогу, не просыхающую даже в засушливое лето, преграждали, как шлагбаумы, склонившиеся над ней кроны старых деревьев, за которыми роились и закипали густые хвойные сумерки.

По сырому краю, цепляясь за грязные ветки придорожных кустов, чтобы не соскользнуть в загустевшую трясику, я вышел на развилку трех дорог. Главная, властно раздвинув стволы елок, уверенно уходила вглубь леса, а две другие, петляя между деревьями, робко отползали в разные от матерой дороги стороны.

Передо мной, взметнувшись в высь могучими стволами, гулко бредили ороговевшие осины и старчески поскрипывали вековые ели.

Они стояли так часто, и было их так много, что они сливались в одну сплошную шершавую стену. За ней-то, наверно, и скрывались дремучие дебри и сказочные чащи.

Надо мной гудели мощные кроны и там, где они переплетались, образуя над головой крышу из темных еловых лап и серебристых листьев, неясно сквозил спокойный неземной свет.

Я постоял еще немного на мягкой хвойной подушке и по той же обочине не вышел, а уже выскочил из таинственного леса.

Дед только что подошел и, придерживая хромую ногу, с трудом усаживался на скамейку.

— Не страшно в лесу-то? — спросил он.

Я пожал плечами, не зная, что ему ответить.

— Садись и ты — отдохни...

Я присел рядом.

Дед сгреб меня в охапку и прижал к себе. От кителя пахло медом и солнцем.

На сырой лавке штаны мои быстро промокли. Я подсунул ладошки и стал сушил их. Руки тоже остыли, и мне захотелось погреть их о теплые от загара дедовы щеки.

За спиной у нас глухо и грозно шумел величественный лес, но не так, как я только что слышал на развилке у трех дорог. Дрожащий его гул исходил теперь откуда-то из глубины — тревожный и призывный.

— А теперь пойдем, — сказал дед и уже легко встал со скамейки.

С дедом мы зашли в лес глубже и остановились у широкого оврага. Я и не подозревал, что в лесу тоже есть овраги.

По дну его текла ржавая речка.

— Сороковой враг, — глубокомысленно вздохнул дед.

— Почему «враг»? — не понял я.

— Так люди овраг этот называют, — объяснил он. — Почему сороковой — не знаю. Может, с той стороны леса счет им ведется.

Дед умолк, оперся на палку и о чем-то задумался.

Я уже привык к лесу и мне в нем ни капельки не было страшно.

Вот бы Кольку сюда, подумал я, и тоже, как дед, вздохнул, но с сожалением.

— А ну-ка крикни да погромче. Сложи ладошки ко-рабликом — вот так, — показал он, — и кричи, что есть силы — Анн-на!

Я набрал воздуха, сделал все, как научил дед, и крикнул:

— Ан-н-на!

— А-а-а, — отозвался кто-то за оврагом.

— Слышал? — повернулся ко мне дед. — Эхо откликается.

— Кто?

— Эхо, — повторил дед. — Сейчас оно голосом мамки моей — бабки Анны — откликается нам.

Я еще раз крикнул, и опять донеслось в ответ далекое — «а-а-а». Крикнул третий раз.

— Это душа ее голос нам подает — слышит нас.

Дед вдруг надолго замолчал и потом также неожиданно заговорил снова:

— Люди рассказывают, что край наш — Буй да Кадуй — черт три года искал, а один человек и вовсе не нашел, заплутал да и канул в лесу. С тех пор каждому звуку голос подает: валежина ли треснет, медведь ли рывкнет. Ну и нам тоже откликается. А видывать его — нет, никто не видал. Он, как невидимка. «Коля!» — крикнут ему, а он в ответ им: «Я-я-я...». А кто «Я» — одному лесу известно...

— А, может, это бабка Анна и отзывалась нам? — переспросил я у деда еще раз.

— Может быть, и она. — Задумчиво ответил он и добавил. — Хорошо бы она...

— Конечно, она, — я сам уже искренне в это верил. — Я же узнал ее голос, дедушка...

Ну что, пойдем? — дед похлопал меня по спине. — К обеду надо вернуться, а нам с тобой еще тычинник рубить. Зря что ли топор-то взяли.

Колышков мы так и не нарубили.

Всю обратную дорогу я бежал впереди, а дед молча шел сзади.

Вечером я рассказал Кольке о моем разговоре с бабкой Анной и о встрече с лесным эхом...





ПЛОТНИКИ

Дед давно задумал ставить новый дом. Два сруба у пруда на лужайке уже успели обветриться и потускнеть. Год назад желтый цвет окоренных бревен был свежее и ярче.

По траве босиком не пройти. В ней жесткая еловая кора и колючие щепки.

— Завтра переезжаем в баню, — сказал с утра дед. — Всю мебель вынесем на сеновал. Придется, внук, потерпеть. Бог даст — за лето управимся. — Дед смерил меня глазами и добавил, — для тебя дом-то рублю, слышишь?

Через неделю, сразу после майских праздников, пришли плотники, подряженные дедом, и на моих глазах по бревнышку за два дня раскатали старую избу и зимовку. От дома остался только двор.

С этого дня мы живем в бане. В ней одно маленькое оконце с грязным стеклом и потому в бане сумрачно с утра до вечера.

Спим на полу — от порога до печки.

С первой ночи дух жженных кирпичей, кислой крашеной шерсти и серого мыла так въелся в мою одежду, что не выветривается даже днем. Его не перебивал и смолистый запах стружек.

Этим утром я встал рано. В открытую дверь забрел наш боевой пестрой раскраски петух и, что есть мочи, прокукарекал над моим изголовьем.

Спросонья я испугался его, а петух, видимо, меня и, хлопая крыльями, выскочил с криком через дедушкину столярку в сад.

Я долго протираю кулаками глаза и стряхиваю с лица песочную сажу, осевшую за ночь на щеки и лоб, потом хлопаю ладонями по ушам — от петушиного крика их заложило.

Наконец, выхожу на улицу, но не в сад, куда выскочил петух, а со стороны двора — к пруду.

По утрам я обхожу свои владения. Начинаю с ближней околицы. Она у меня, как граница. По эту сторону от изгороди покосившиеся амбары с соломенной крышей. У них в зарослях лопухов проверяю потаенные места. В них я прячусь от бабушки, когда она меня за что-нибудь отругает. О них не знает даже Колька.

Здесь я храню деревянные игрушки — трактора и машинки.

Смотрю, не украл ли кто ночью кованные в кузнице черные скобы и длинные граненые гвозди с круглыми шляпками, припрятанные в траве под черемухой.

Здесь же стоит мой царский трон — гладкий осиновый кряж, застланный цветным, как радуга, тканым половичком из бабушкиного сундука.

По ту сторону изгороди проселочная дорога и колхозные поля. По краям их топорщатся перелески, как перевернутые щетки, а над горизонтом уже темнеет гребешок большого леса.

Потом возвращаюсь к поленнице, сую озябшие руки в мягкость свежих опилок и грею. Я так люблю их парное тепло и душистую сырость.

После завтрака снова выхожу на улицу и, поджидая Кольку, сижу у пруда на окоренном бревне. Смотрю, как

ловко на углах сруба плотники подгоняют венец к венцу, и слушаю, как звенят, подбирая в пазах, их серебряные топоры.

Я могу слушать эти перезвоны сколько угодно. Они будто завораживают меня.

Дом подрастает с каждым днем. Пока он без окон и без дверей, без крылечка и без крыши. Но к осени мы справим в нем новоселье.

Я закрываю глаза и вижу не избу, а сказочный дворец с белыми палатами и красными светелками.

Я сижу так часами и мечтаю.

Рассеянный и холодный свет майского утра уступает место свету дневному — яркому и теплomu.

Вечером увижу я, очарованный, как багрово-красное от трудов небесных солнце зависнет умиротворенно над исаковским холмом и, ломая сноп искрящихся лучей, тихо и торжественно опуститься в заулоч у избы моего троюродного брата Валерки.

И пруд деревенский с рогожкой зеленой тины превращается по моему велению в сказочное болото. И не Марьяна гусыня с красным клювом по нему плавает, а Лебедь белая — девица красная. И не лошадь Толи Осипова, навязанная на ржавую цепь, гуляет у конюшни, а бьет на лугу копытами по шелковой траве мой верный конь — Сивка-Бурка...

— Эй, Царевич! — слышу голос Коли-Гриши, который сидит на верхнем венце сруба и машет мне рукавицей. — Подходи чай пить.

Я увидел его и сразу очнулся. Сказочный мир исчез, и я снова вернулся в обычный земной.

Когда подошел к плотникам, они уже сидели в саду у костра. Их и всего-то двое — Коля-Гриша из Сумарокова да Валюха из нашей деревни, Лидья Мазовой муж.

Я люблю с ними чаевничать и слушать их рыбацкие байки.

Коля-Гриша — не знаю, почему, но так его называют все — разливает из закопченного котелка в алюминиевые кружки крепко заваренный чай.

— Будешь? — спрашивает меня.

Я согласно киваю головой и сажусь рядом.

— Вот и молодец! Посиди с нами-то — успеешь набегаться.

Коля-Гриша, не торопясь, готовится к куреву. Сначала шумно продувает папиросу, потом встряхивает над ухом спичечным коробком, с трудом ловит в нем заскорузлыми пальцами последнюю спичку и долго чиркает ею по истертому до бумаги боку.

В конце концов, не выдерживает, бросает коробок в огонь, прихватывает из костра огненную головешку и, закрыв глаза, смачно и дымно прикуривает.

Лица у плотников — цвета чайной заварки — не остывают, кажется, даже ночью.

Коля-Гриша сухой, как сморчок, мужичок лет пятидесяти был в это утро за кашевара.

Шея у него длинная и тонкая. По ней сверху вниз бойко гуляет кадык и катается, как яйцо под куриной кожей.

И глаза у него такие же юркие. Сидят глубоко и сверкают из-под густых черных бровей, как две искорки. На выгоревших до желтизны ресницах налипла древесная пыль, а на прокуренных усах и в кудрявых на груди волосках дрожат крупные опилки.

Коля-Гриша страсть как любит врать.

— Ты что сегодня без рыбы-то вернулся? — спросил Валюха. У него лицо широкое с вечным на щеках румянцем. — Или заснул на берегу?

— Ой, только не спрашивайте, — закашлялся Коля-Гриша да как-то удушливо и с надрывом, постучал костлявым кулаком по впалой груди, потом зло сплюнул под ноги, растер слюну каблуком и только после этого отозвался на Валюхин вопрос.

— Расскажу, так не поверите, — заранее оговорился он, исподлобья оглядел нас и, смакуя, жадно проглотил последнюю затяжку. Даже зажмурился от удовольствия. — Такой рыбалки у меня еще не бывало. Как вспомню — мороз по коже.

Омутище вчера нашел — прямо колдовское.

Сижу на берегу и чую — какая-то сила так и тянет, так и тянет меня в глубину. По телу благодать такая. — Коля-Гриша для убедительности даже потянулся и, крикнув, погладил себя ладонью по животу. — Будто с бабой целуюсь. Вот такая внутри истома. А как зенки-то разул — рыба, верите, нет — глазищи — во! — Он пошевелил жесткой щетинкой бровей и выкатил под пыльные ресницы откуда нежесть взявшиеся белки удивленных глаз. — Колдовские, скажу, натурально. И вот, значит, заманивает меня — иди, мол, иди. Верите, встаю и... по воде круги и темень. Оборачиваюсь — жена, подбоченясь, с дубцом стоит...

— Ну, брат, от греха отвела, — скупой улыбнулся Валюха, шмыгнув по привычке носом и, обжигаясь, прикурил от дымящей головешки потухшую папироску.

— Я ей и говорю, — горячится Коля-Гриша — врет он искренне и очень переживает, если ему не верят. — Баба, говорю, ты жись мою разбила...

— У тебя не жена, а сила нечистая, — не унимался Валюха.

— Ну, это ты брось, — по-детски обижается Коля-Гриша, — может, твоя баба нечисть какая, а моя — медок липовый...

— То-то и оно, — засмеялся Валюха, перекинув во рту папироску, — что липовый медок-то — не натуральный то есть.

Коля-Гриша обиженно отмахнулся от него, по-детски запричмокивал, облизывая сизые пересохшие губы, и стал молча соскабливать желтым от махорки ногтем прилипшую на коленке солнечную смолу.

Мне стало жалко его.

Я протягиваю Коле-Грише гвоздь из своих запасов. И не простой граненый, а волшебный, выкованный в залесской кузнице за Черными лужами...





СТРАНА ЗАЛЕСЬЕ

Теплый июньский вечер.

Еще не остыл и теплится над Ивашевым закат с розовой грудкой январского снегиря. Еще вздрагивает он болезненной судорогой на оплавленных светом стеклах подслеповатых изб.

Еще не осела над улицей слоистая пыль, поднятая деревенским стадом, и не утомилась искусанная оводами скотина, разведенная хозяйками по сумрачным духовитым дворам, а уже над деревней гаснут, как искры, звуки отзвеневшего дня и утомленным эхом певуче тают в напоенном прохладой воздухе.

Затаившийся вечер подает уже свои редкие голоса, расцвеченные чуткой тишиной.

Под горой сползает с валика в черную колодезную беду гремячая цепь, и натужно поскрипывают на плече под полными ведрами дужки горбатых коромысел.

У конюшни всхрапывают натруженные за день лошади и ломаются в стойлах пружинистые жеребята.

В пруду, запутавшись в густой тине, шлепает по воде крыльями суматошная Марьяна утка, шумно стряхивая с клюва обрывки скользких зеленых водорослей.

Бабушка вышла доить корову. Слышно, как затенькали и зазвенели о стенку пустого подойника первые тугие струйки парного молока.

А вот пронесся на велосипеде, громыхая подсумком, единственный на деревне парень. Толя Куликов поехал в Сумароково на гулянку.

По моей руке, судорожно перебирая ножками, ползет заблудившийся муравей.

Я пересаживаю его на соломинку, за которую он цепко держится и не падает.

Но мне сейчас не до него.

Я сижу на соломенной крыше амбара, что с незапамятных времен стоит на краю нашего сада под старой горькой яблоней, и хочу заглянуть с нее за горизонт.

Смотрю в сторону Замятина. Это последняя деревня за Шелками, которую я знаю.

В ней всего две избы. И почти под самыми их окнами бредят на ветру вековые ели и сосны.

Где-то за ними и скрывается моя сказочная страна Залесье.

По-за огородами из дальних лесных делянок возвращаются с сенокоса Цветковы.

Впереди широко шагает дядя Саша, за ним семенит жена Софья, а за ней, переваливаясь с боку на бок, сама Марья Васина. Идут молча в белых одеждах, как привидения, с граблями и косами на плечах.

Под их босыми ногами клубится взбитая до пудры желтая дорожная пыль.

Не из моей ли страны Залесье они держат путь?

И не туда ли ведут коровьи тропинки, по которым я ходил однажды с дедушкой слушать лесное эхо?

Не оттуда ли текут и безымянные реки с живой и мертвой водой?

Не там ли сматывает в клубок свои лучи и нагулявшееся за день солнце?

Да, где-то там, за сороковым оврагом оно каждый вечер и садится. У самых Черных луж на топком клюквенном болоте.

И там не пойманная еще Жар-птица сбивает с него закаленным клювом золотую окалину...

Не в эти ли минуты и полыхает прощально над горизонтом мятежно-огненный закат?

Оттуда после грозового ливня поднимается, как диво, и домотканая радуга. Через нее только и можно войти в эту загадочную страну.

Однажды после грозы мы с Колькой, увидев над лесом радугу, добежали почти до самого выгона, но радуга, едва мы приблизились, растаяла, как снег на ладошке. От нее на синем небе осталась только светлая, как изморозь, дымная испарина.

А мы, задрав головы, стояли на краю поля по колено в вязкой глине и с ужасом слушали, как доносится из ольховых кустов змеиное шипенье еще парящей в воде окалины.

И даже видели — Колька не даст соврать! — как всплывали из лесной чащи наполненные светом прозрачные воздушные пузыри и как на макушках ошетилившихся иголками елок разлетались они радужными брызгами...

На днях к Саше Цветкову приехали в гости незнакомые мне люди.

Когда они проходили мимо бани, бабушка стояла у открытых дверей и внимательно разглядывала их. Потом, утолив любопытство, крикнула деду в прикрывину:

— Залесские...

Я у нее переспросил:

— Они что — из-за леса?

— Оттуда, — уже без интереса к ним ответила мне бабушка и вдруг у деда уточнила. — Батька, из Новоградского они?

— Из Новоградского, — уверенно подтвердил дед.

От неожиданности я даже вздрогнул. Меня в миг осенило: значит, из Нового града. Я несказанно обрадовался своей догадке. Из того самого, выходит, града, который и есть столица еще неведомой мне страны Залесье.

Каково же было мое удивление, когда вечером я увидел их в заулке у Цветковых. На вид они были такие же, как и наши деревенские бабы и мужики.

Они и плясали также, и пели, и говорили на завалинке о том же самом — о сенокосе и скотине, о ягодах и грибах.

Еще и в гости к себе звали:

— Ведь сто лет не бывали. Пора бы!..

— Будем живы-здоровы — отгостимся, — отшучивалась Марья Васина

Нет, — убеждал я сам себя, — они должны быть другими.

Я все искал и искал в них что-то особенное и, наконец, нашел — на их лицах загар отливал перламутром.

На всякий случай еще раз оглядел и своих — деревенских. Нет, у наших загар с глиняным отливом.

Да, такой мог быть только у залесских! Только они живут рядом с топким болотом, и только они видят, как сбивает Жар-птица с вечернего солнца золотую окалину...

— Во-ва-а!.. — услышал я аукающий голос бабушки.

Очнулся и почувствовал, как дружно сыпанули по спине мурашки. Солому на крыше амбара давно уже окинула молочная роса и легкой испариной легла даже на мои волосы.

Я не откликнулся. Разгреб ногами колючую и пыльную, но внутри еще теплую солому, а руки засунул под рубашку.

Сразу согрелся.

— Во-ва-а!.. — звала и звала, забеспокоившись, бабушка. — Иди ужинать...

Я осторожно слез с амбара и побежал через сад в баню. Мне так захотелось поскорее лечь спать и снова увидеть во сне мою таинственную страну Залесье...





ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Живем, как и прежде, в двух избах — летней и зимней. Если ночь ясная и с росой, то спим на сеновале, а если на улице дождь с ветром и похолодает, то перебираемся в баню.

С вечера я лег на сеновале. Прогноз обнадеживал. Дождя не обещали.

Привык я уже и к бане. Даже запах ее и тот теперь мне нравится.

Бабушка приноровилась готовить еду на керосинке.

По вечерам дымом выгоняем комаров. Спать, как и в старой избе, ложимся рано...

— Горшок с кашей на столе, молоко в чуланке, — причитала надо мной по утру бабушка. — От дому, смотри, не убегай. Сторожи куриц...

Встал около полудня.

Все сделал так, как велела бабушка, и, сунув в карман сдобную витушку, выбежал в заулоч.

Деревня как вымерла. Даже собаки не лают. Бессловесные плотники, как наездники, оседлали восьмой венец сруба и вырубают волшебными топорами светлые пазы для девятого.

Это к ним, наострив ухо, прислушивается Семичихин петух посреди пустынной улицы. Головку склонил набок, а

из-под вялого и одрябшего на жаре гребешка поблескивает на солнце черный стеклянный глаз.

Глядя на него, я вспомнил и про куриц. Вчера у Марьи Ермиловны ястреб чуть не унес цыпленка.

Я сел на лавку под березой и посмотрел вверх.

Мутновато-синее небо дышало зноем. А белесые и взбитые до пуха облака свисали с него, как с потолка паутина, — где попало.

Ястреба я не увидел. По небу с писком чиркали только суетливые ласточки да прыскали стайками с проводов на тропку юркие воробы.

Глаза от горячего света, даже прикрытые ладошкой, вдруг резко заломило, и я на мгновение как будто ослеп.

Судорожно заморгал, затер кулачками слезы и тупо уставился в землю. Передо мной, как через увеличительное стекло, стала проявляться трава. И не пыльная, как минуту назад, а яркая и сочная, как после дождя.

В ней неуклюже ворочался черный с сизым отливом костяной жук, и кишели бестолково вокруг хлебной крошки потные муравьи.

Я перевел взгляд на улицу — ни души. Одна на всю деревню бабка Анна в серых с галошами валенках сидела в притворе крыльца и, положив на клюшку сморщенный подбородок, мирно и сладко дремала.

Рядом с ней в тени у порога тяжело дышал такой же старый Шарик, выбросив на лапы бледный и почки сухой язык.

В воздухе, светясь, закипало раскаленное марево.

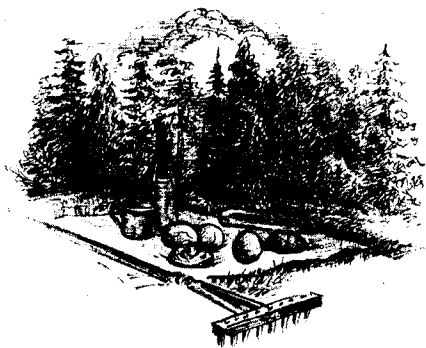
Над головой сеялась мошкара, звенели нудно осы и перед глазами надоедливо метались, как угорелые, слепни да мухи.

Слышно было, как над прудом шелестят крыльями слюдяные стрекозы.

Спасаясь от них, я ушел на сеновал. Забрался под марлевый полог, уткнулся носом в прохладную подушку и не заметил, как уснул...

Проснулся от всплеска петушиного крика и вскочил, как ужаленный, — ястреб! Выбежал во двор и успокоился. В окружении полусонных куриц прогуливался у распахнутых настежь ворот сморенный зноем петух и в зобу у него тихо угасал добродушный клетот...





СЕНОКОС

1

Сижу на пороге бани и смотрю, как дед готовится бить косы. Усаживается на красную табуретку, поближе к себе пододвигает березовый крыж с маленькой наковальней и на нее наставляет сверкающее на солнце лезвие косы.

Вот у него уже все готово. Сейчас он поставит поудобнее хромую ногу, смочит в воде молоток и тишина июньского вечера разлетится вдребезги.

Да, вот оно, вроде, и началось.

Пыч!-пыч!-пыч! — зазвенело у меня в ушах и вздрогнули на деревьях листья — липко на стройном тополе и трепетно на раскидистой березе, робко на молодой рябине и сухо на старой черемухе.

Дребезжат и стекла в оконных переплетах.

И, кажется, не коса, а сам вечер звенит под смачными и точными ударами молотка.

Пыч!-пыч!-пыч!..

Я слушаю эту монотонную песню и не устаю. Она будто вплетается в общую мелодию вечера.

В заулках и на гумнах женщины стаскивают в копны сомлевшую за день траву.

Но не трава опять же, а жарю сморенные сумерки шуршат у них под граблями.

Да и сами грабли перекликаются, как спицы.

Оставляю деда и выбегаю на улицу. Из-под горы, поднимая пыль, втекает в деревню утомленное стадо.

И вот уже слышу, как запели в заулках знакомые голоса.

— Мани, Мани, Мани, — заводит внизу Марья Осипова — звонко и пронзительно.

— Нинки, Нинки, Нинки! — подхватывает посреди улицы, боясь опоздать, Семичиха.

— Дочи, Дочи, Дочи! — сменяет их сдержанный с хрипотцой голос Марья Васиной.

Дробят по утопанной дороге суетливые овцы и прыскают на ее обочину шустрые ягнята.

Помыкивают уставшие от слепней и мух коровы, чешут шершавыми языками свои искусанные бока и шумно вздыхают, смахивая с толстых губ тягучую слюну.

Но вот уже и рассерженные хозяйки начинают вести с ними другой разговор.

— Домой, Горбыль! — зовет из заулка свою кормилицу Марья Ермиловна, а сама, подбоченясь, жует подгоревшую корку и комкает пальцами хлебный мякиш.

— Ах ты, черт шелудивый! — лупит хворостиной упрямого теленка моя бабушка и ласково причитает. — Куда тебя леший-то понес?! Кыш домой!

Из-под горы за последней коровой бредет едва живой пастух Коля Корзинкин — с выгоревшими до белизны бровями и с лицом, усыпанным маслянистыми веснушками.

Он по-мужицки шаркает окаменевшими на жару и серыми от пыли кирзачами, а за ним, шипя, как змея, ползет по его следу заплетенная в тугую косу такая же запыленная плеть с распушенным на конце хлопцом из рыжих конских волос.

Я смотрю на Кольку, на деревенских женщин, слушаю их и радуюсь. Рядом с ними в этот светлый вечерний час так хорошо и так всегда спокойно бывает у меня на душе.

А из сада, как из травы звонкий кузнечик, стрекочет без устали на всю деревню неугомонный дедов молоток.

Пыч! Пыч! Пыч!..

Я знаю, что завтра меня первый раз возьмут на ближние поляны...

2

Когда я утром вышел из бани, солнце еще не встало. Оно только угадывалось в розовой молочной дымке над лесом за Соломининым.

На траве лежала обильная роса. Сверху серо-белая, как будто присыпанная серебристой пудрой.

От одного ее вида меня бросило в озноб.

От порога к поленнице чернела и поблескивала рваная цепочка следов. Это бабушка ходила за дровами.

На гвозде, вбитом в косяк дверей, висела моя желтая панамка.

Я снял ее и опять судорожно поежился. Она разбухла от влаги и стала тяжелой, как дедова кепка.

Вышел дед, звеня косами.

— Не передумал? — спросил меня.

Я мотнул головой.

— Ну и хорошо...

Дед навязал мне на пояс лопатку в берестяном футляре.

— Не потеряй, а то косы точить нечем будет.

За ним в темном проеме дверей появилась бабушка — вся в белом с головы до пят. Оттого лицо под платком стало еще темнее.

— Спал бы в бане-то, горе луковое, — она жалостливо осмотрела меня и по привычке подтянула мне штаны.

Мимо прогромыхали дроги Толи Осипова. Осиповы ездят косить к Шелкам.

Рядом сидела тетя Маня в зимней фуфайке, но без платка. Кольки с ними не было.

Не поехал, подумал я, спит в теплой кровати. Ну и пусть.

— Доброго здоровьица, — приподнял над включенной головой мятую кепку Колькин отец и, подхлестнув лошадь вожжами, прикрикнул. — Ну, милая, пошевеливайся!..

Утром колеса у телеги, заметил я, скрипели громче, чем днем. На досках днища тряслась сенная труха и березовые от веников листья.

У нас лошади не было, и мы пошли пешком. Впереди бабушка с косами на плече, за ней я — с лопаткой в руке, а сзади дед — с рюкзаком за спиной.

Солнце высунуло кончик красного язычка и сладко потянулось над лесом еще парными после сна лучами. Сначала вокруг все потемнело, а потом разом вспыхнуло и маслянисто заблестело.

На обочину — откуда ни возьмись! — будто с неба, прыгнула моя тень — длинная и неуклюжая.

Она как будто проспала и, вспохватившись, виновато засемила в ногу со мной.

Так, не отставая ни на шаг, и сопровождала меня до самого леса.

Лесная дорога — не проселок. Трава и ягельник почти с меня ростом.

— Теперь иди за мной, — сказал дед. — За нами росы поменьше.

Иду и моргаю глазами, где раздвигаю траву, а где отвожу в сторону ее сырые хвостики и метелки. Но все равно роса брызжет на щеки.

Штаны у меня уже промокли насквозь и прилипли к коленкам. Даже в сапоги натрусило.

Иду и сам себя жалею, шмыгаю носом и дрожу, как заяц.

Бабушка, легкая на ногу, давно убежала вперед. Вдалеке то пропадал, то появлялся ее белый платок.

Дед поминутно поворачивается и подбадривает меня:

— Уже скоро. Вон, видишь, просвет — там и есть Михайлова поляна...

— А почему Михайлова? — спрашиваю у деда. За разговором идти легче. — Потому что твоя? Тебя ведь Михаилом зовут...

— Выходит так, — соглашается дед. — В мою честь и названа...

Впереди из-под темных елей и впрямь растекался по веткам и свисал с них густой, смешанный с ночными сумерками, еще предутренний свет.

— Осторожно, не завязни, — дед взял меня за руку.

Нащупывая дно, мы перешли с ним ржавый и топкий ручей и сразу же поднырнули под низкие еловые лапы.

Я зацепился панамкой за сучок и услышал, как стрекнули мне за шиворот сухие и колкие хвойные иголки.

И вдруг лес будто расступился и перед нами открылся залитый солнцем и окропленный росой сказочный луг, с которого только что взлетела Жар-птица.

— Ну, вот и добрались! — дед снял рюкзак и, прикрыв ладонью глаза, придирчиво осмотрел поляну. Травой он, похоже, остался доволен.

Бабушка, не дожидаясь нас, уже во всю косила на другом краю поляны.

— А ну-ка, подай лопатку, — протянул руку дед.

Я, как саблю из ножен, вынул шершавую лопатку, оглядел ее и положил деду в раскрытую ладонь.

Дед тут же жестко завжикал ею по звонкому лезвию.

Потом опробовал косу и позвал меня.

— А ну-ка — выбирай прокос!

Я встал перед дедом, расставил, как он, ноги и уперся головой в пряжку его брючного ремня.

Дед взял мои руки, наставил их на косевьище, крепко прижал своими и, резко взмахнув косой, легко бросил сверкнувшее на солнце жало к самой земле.

Я ничего не успел понять и увидеть. Услышал только под ногами сырой всхлип сочной травы.

Дед взмахнул косой еще раз. Еще! И еще!

Я раскачивался, нет, скорее дергался вместе с ним из стороны в сторону, но чувствовал, как под косой трава послушно подавалась и как шумно она сбивалась в мокрый от росы валок.

— Вот так молодец! — похвалил дед. — Матк, гляди-ка — внук-то разошелся...

— Ладно, хватит! — как всегда, пожалела меня бабушка. — Вовульк, молочка попей — в рюкзаке оно...

Дед натянул до бровей кепку, поплевал на ладоши, растер их и повел по краю поляны широкий и ровный прокос. При каждом взмахе на острие косы заскакивал солнечный зайчик и даже успевал подмигнуть мне. Дед шел не спеша, часто останавливался, чтобы сбросить с сапога на хромой ноге тяжелые плети скошенной травы.

А мои старые сапоги блестели сейчас не хуже новых Колькиных.

Я достал из рюкзака бутылку с молоком и глотнул прямо из горлышка. Такого вкусного я еще никогда не пил.

Так вот какая она — Михайлова поляна!

Солнце поднималось справа от нее. Светило оно чуть ярче, чем над Соломининым, но еще не грело, а только слегка ласкало щеки и нос.

В такую рань с ним еще можно переглядываться не жмурясь.

Я стою по пояс в траве и слышу, как набухшие шарики росы, сверкнув, скатываются на землю. Наклоняюсь пониже и любуюсь на листьях россыпью серебряных крошек, оставленных ими.

Я вижу, как стекают капли по тонким стебелькам, омывая их до блеска, и как выпрямляются, освободившись от них, гибкие былинки.

Я чувствую, как пахнет лесными цветами и скошенной травой. Так терпко и сладко, что мне даже хочется выбежать в поле и вдохнуть сухого и безвкусного воздуха...

На поляне темнела уложенная в валки трава, а между ними высвеченный солнцем зеленел густой и ровный ежик пока еще мягкой стерни.

Я пробежал по нему, как по матрасу с пружинами, и только сейчас заметил, что дед с бабушкой уже выкосили всю поляну и обтирали разгоряченные косы сочной зеленью.

— Вова! — помахала мне платком бабушка. — Иди собираться...

Из дому мы ушли чуть свет и вернулись в него тоже рано.

Печь стояла не топленная...

Колька Осипов еще спал, и мне так хотелось его разбудить.

Каким же длинным и каким красивым был у меня в жизни этот день!..

3

На следующее утро после завтрака мы пошли на сушку.

— Ну, дорогой внук, роса тебя окропила, — сказал перед дорогой дед. — Пришло время причащения — готов ли?

Я согласно кивнул головой.

— Тогда держись! Выдержишь — мужиком станешь...

Дед подхватил под мышку серые, почти отполированные, слези-носилки, бабушка уложила на плечо грабли, и мы неспешно тронулись в путь.

Солнце уже стояло высоко. Не над лесом, как в то утро за Соломининым, и похоже оно было не на крутой красный желток, а на горячий бабушкин блин, который, скворча, растекался по сковороде — только не по черной обугленной, а по голубой с синеватыми краями.

И тень моя на обочине была не жирная и длинная, как вчера, а бледная и короткая. Даже меньше меня.

И не я теперь волок ее за собой по росной траве, а она легко скользила за мной по ее сухим макушкам.

Я не знал, кто и как будет меня причащать, но всю дорогу настраивал себя на худшее. Если уж дед так глубокомысленно об этом сказал, значит, и впрямь впереди меня ждут какие-то не шуточные испытания.

По дороге до Михайловой поляны их, слава Богу, не было. Дошли мы до нее быстро и без приключений. Роса с листьев ягельника не брызгала, и штаны мои хоть и намокли, но не так, как вчера — к коленкам не прилипали.

Даже ржавый ручей за сутки как будто обмельчал. Его мы, наловчившись, перешли с дедом по жердочке.

Поляну я тоже не узнал. Она поменяла цвет. Тучные валки на солнце одрябли и осели. Стерня между ними подсохла и забурела. Она не пружинила под подошвами сапог, как вчера, мягко и сочно, а шуршала под ними — колко и сухо. И уже не комары, звеня, висели над ухом, а слепни, обжигая, метались вокруг, как ужаленные.

Бабушка, как пришла, сразу стала разбивать валки, где граблями, а где руками.

Мы с дедом сначала попили молока, потом пристроили на сучке рюкзак и только после этого вышли на поляну. Она парила. От земли исходил тяжелый дух. Пахло увядшими цветами и сомлевшей травой.

Я ворошу граблями скошенную траву у края поляны. На солнце сильно припекает. Не спасает и панамка.

— Отдохни, — сказал дед, когда мы взъерошили всю поляну. — Теперь пусть посохнет...

Панамкой вытираю лоб и обмахиваю с рук сенную труху. Царапины на них саднят. То и дело чешу их. Липкий пот разъедает глаза. Тело зудит. Особенно спина и шея.

— Сбегай к ручью, — велит дед. — Ополоснись. Да и перекусить уже пора...

Вода в ручье чистая. Только цвет у нее коричневый. На желтой отмели, как на островке, прилепились и моргают крылышками белые бабочки.

Плеск воды вспугнул их, и они замелькали над осокой. Их было так много, что в глазах у меня заребило.

Умываюсь и возвращаюсь. Мне и впрямь становится легче, как будто вода в ручье живая! Слышу, как высыхают на лбу ее капельки и стягивают кожу. Стою в тени и впервые чувствую на щеках ее робкое прикосновение — не жаркое, а теплое.

Бабушка раскладывает на платке еду — яйца с треснутой скорлупой в хлебных крошках, пышные пироги с печным румянцем на корочке, сдобные витушки, очищенную луковицу с перламутровым отливом, вареную картошку в кожуре, молоко и клюквенный морс в бутылках.

— Ешьте, что Бог послал, — крестится бабушка. — На воле-то вкуснее...

Сажусь на корточки, беру зеленую бутылку и пью молоко с витушкой.

— Ну как? — спрашивает дед. — Вкусно?

— Вот так, сын милый, молочко-то дается, — бабушка о коленко колет яйцо и бросает мне. — Вспомнишь зимой, как на поляне от слепней отбивался да комаров кормил.

На сенокосе, и верно, все не так, как в деревне. И у хлеба вкус медовый, и молоко гуще, и яйца с пасхальной сладостью.

Даже слепни и те жалят больше. Они и сейчас нам не дают покоя, натужно гудят над ухом и чиркают перед глазами воздуха.

— Самый солнцепек, — дед посмотрел на небо. — Погода выстоит — завтра сметаем?

— Дай бы Бог! — вздохнула бабушка.

Все небо залито золотой глазурью. Посмотрю на него и слепну, опущу глаза на поляну и ничего на ней не вижу, кроме вытравленной зноем бесцветной травы...

После обеда мы еще два раза поворошили сено и стали с бабушкой укладывать его в копны. Дед расчистил посреди поляны старое остожье, натаскал к нему свежих березовых веток и установил стожар. Завтра будем метать стог.

В деревню мы вернулись, когда в нее входило стадо...





ГРОЗА

В пору сенокоса по утрам мы с дедом выходим из бани и осматриваем небо.

Сегодня оно чистое и высокое. Как милостив Бог к нашей деревушке и как светло в ней сегодня под бездонным куполом выгоревших июльских небес.

Дед молчит и смотрит из-под руки.

— Видишь, синеется, — показывает в сторону Замятина, — к обеду нанесет...

Опускаю взгляд на линию горизонта. И верно, над дальним лесом, как синька на воде, проступает на белесом небе темными прожилками сизоватая дымка.

— Мать, а дождь-то будет. Пора сено грабать...

На пороге появилась встревоженная бабушка, на ходу повязала платок, и, не говоря ни слова, с граблями засемила через сад на гуменник. Дед встряхнул о колено кепку и захромал следом.

Я тоже взял у стены свои маленькие грабли и побежал за ними.

Пока мы стаскивали сено в копны, подул легкий ветерок.

К полудню безобидная утренняя дымка загустела и превратилась в бесформенную студенистую массу. Она росла, как на дрожжах, и медленно расползалась над горизонтом.

К обеду иссиня-черная туча уже захватила полнеба. Будто кто выталкивал ее из-за верхушек темных елей. Белые растрепанные облака, как пена, пузырились в уголках ее плотно сжатых лиловых губ.

Стою в саду и зачарованно, правда, не без страха, люблю, как туча грозно и неотвратимо висит над деревней и притихшей округой.

Туча была уже готова под тяжестью своей рухнуть на землю, но вдруг в растерянности замерла, будто испугалась чего.

Какое странное состояние природы: спину мою пригревает солнце, а глаза завораживает вздыбленная в небо тьма.

Перед ней все оцепенело, и я боюсь пошевелиться.

И только сорока — то ли радуясь, то ли злорадствуя — взлетела на столб и скороговоркой застрекотала.

В гуменнике бабушка накинула на копну сена клетчатую клеенку и придавила ее толстым поленом.

— А ну-ка, в баню, — увидела меня и, подхватив подол, вбежала в прикрывину. — Кому говорят — домой!..

От неожиданности я вздрагиваю и чувствую страх перед затаившейся стихией.

Я опрометью выбегаю из сада.

У дверей прикрывины останавливаюсь. Какая-то сила удерживает меня на воле.

Звонящую до боли в ушах тишину нарушил заговорческий ропот березы. Листья ее нервно затрепетали и крона, словно охваченная ознобом, мелко и судорожно задрожала.

На пруду зашуршала осока.

Водно мгновение на деревне началась паника. Травы, стелась по земле, будто потекли по ней — ярко и стремительно.

На деревьях вывернутые наизнанку листья бурлили серебряным кипятком. Поднятая столбом пыль крутилась волчком и, как осиное гнездо, летела вдоль улицы до Колькиного дома, а там с бугра взмывала в серую пучину неба.

Туча чернильного цвета щупальцами уже дотянулась до солнца и властно затягивала его в кипящую бездну. Но светило сопротивлялось и лучи его, как золоченые спицы, еще мелькали в пыльной мгле и просвечивали ее изнутри желтым мятежным светом.

Но вот и последний их рассеянный сноп сверкнул из-под синего козырька тучи и пропал...

Вспыхнула молния, и по ее острым зазубринам сухо и бархатисто заскрежетал, высекая огонь, первый с надтреснутым голосом гром.

Я в испуге присел и закрыл ладошками уши.

В страшной кутерьме ветра, огня и пыли я не услышал, а увидел, как обрушился на деревню отвесный и слепой ливень.

Началось, как говорит бабушка, светопреставление...

В другой раз я забился бы в угол или залез с головой под одеяло, а сегодня, дождавшись грозы, решил от нее не прятаться. Я сел на краж и замер перед открытой дверью прикрывины.

Дождь хлестал наотмашь. Стекла в окнах звенели. Казалось, они не выдержат порывов ветра и лопнут под его разбойным напором.

Над крышей оглушительно громыhalo.

При каждом ударе грома прикрывина нервно содрогалась, и я слышал, как дрожала, постанывая, пила, державшаяся ручкой за гвоздь в простенке между окнами.

Даже мутная паутина в углу колыхнулась, и паук, запутавшийся в ней, засучил в испуге длинными угловатыми ножками.

В проеме дверей метались перепутанные ветром водяные струи хрустального цвета. Дождь падал с неба сплошной стеной и у моего порога как будто захлебывался от злости, обжигая меня холодными брызгами.

В предбаннике с дребезгом разлетелось стекло. Запарусила на ветру занавеска, зашуршали слетевшие на пол газеты.

— Ай, батюшки!.. — охнула и запричитала бабушка.

Она схватила с вешалки дедову фуфайку и кое-как за-
ткнула им сквозную дыру.

Снаружи рукав ватника часто и глухо захлопал по стене.

Сверкнула молния и озарила пространство прикрывины
ледяной вспышкой.

Я затаил дыхание и, втянув голову в плечи, с ужасом
ждал грома. От его хлестких с трескучим рокотом разрядов
задрожал весь двор. Из-под крыши мне на голову и за ворот
посыпалась сухая древесная труха. Даже крапива за окошком
пригнулась и в страхе прижалась к стене прикрывины.

Не раз подбегала ко мне бабушка и чуть не силой пыта-
лась затащить меня в баню, но я упирался...

Минут через двадцать дождь также неожиданно стих,
как и начался.

Выхожу в сад. Ноги будто онемели.

Гроза уходила за Сумароково.

Над холмом, пронизанные солнцем, мирно клубились
и таяли разметанные клочки грозовой тучи, похожие на
окрашенную в разные цвета шерсть.

Частый, но мелкий дождь будто застеклил деревенскую
улицу.

Искристые капли его порхают и гаснут. Сочная зелень
травы и листьев блестит на солнце, как новенькая, — медово
и липко. Земля простужено хлюпает и в саду на грядках
жадно всасывает небесную воду. На парных лужах растут
и лопаются сальные пузыри, а под окошками шумно выпля-
сывает веселая капель.

Из полной кадки вместе с водой выпрыгивают на землю
солнечные зайчики.

Я ловлю их в ладошки и подбрасываю в небо...





ПАСТУШНЯ

Сегодня скотину на «жару» пригнали рано. Сгонять будем часа через три, когда спадет зной.

Пастух Колька Корзинкин попинал в кряж поочередно кирзовыми сапогами, сбивая с них пыль, бросил у pole-ницы измученную плетъ, повесил на гвоздь в стене выгоревшую до грязной белизны кепку, еще раз постучал на пороге каблук о каблук и, пригибаясь, по-хозяйски вошел в предбанник.

Бабушка размешивала в чугуне зеленые наваристые щи. Запах их был слышен даже на улице.

— Заели, поди, батюшко, слепни-то, — пожалела она Кольку.

— Прихватывают, — буркнул под нос Колька и сунул под умывальник красные, будто распаренные в бане, руки.

Мыльная пена в его ладошках сразу стала пепельной-серой.

С этого утра Колька стоит на очереди у нас. Три дня он будет приходить на завтрак, обед и ужин, потому как у нас в стаде пасутся корова, теленок и овца.

Я люблю, когда пастух на постое. Даже привычная еда в эти дни становится вкуснее. Да и бабушка хлопочет как-то по-особому. И пироги печет, как на праздник, чтобы не хуже, чем у других, было.

Колька, правда, не привередливый, но солоший, как говорит дед, ест много и по-коровьи чавкает...

Пока он обедает, я жду его в саду у плотницкого костерка.

Минут через двадцать Колька вышел.

— Ну что, мелюзга, пасти пойдете? — сыто отрыгнул он и по привычке нахлопал в кармане отцовских в полоску брюк пачку папирос.

Яжимаю плечами, хотя еще вчера мы с другом договорились, что с обеда пойдем на пастушню.

Мне Колька нравится. Ему уже пятнадцать. Он даже курит в открытую. Не тайком.

Вот и сейчас он, как бывалый мужик, ус аживается на осиновый кряж и закидывает ногу на ногу. Потом, не глядя на коробок, чиркает по нему спичкой, но прикуривать не спешит. Ждет, пока разгорится пламя. И только тогда, когда оно начинает обжигать пальцы, он, и тоже не глядя, подносит спичку к свеженькой с голубым отливом папироске. Смачно раскуривает ее, да так, что даже его сухие с белесой шелухой щеки раздуваются, как меха. Потом жадно всласть затягивается и утопает в облаке слоистого ленивого дыма.

Подсаживаюсь к нему поближе, вожу чутким носом и ловлю сладкий запах «Севера».

Я слежу за Колькой и знаю, что сейчас он подопрет золотушным кулаком сальный подбородок, ловко сплюнет сквозь редкие зубы и по-взрослому задумается о чем-то очень-очень важном.

Волосы у Кольки рыжие и зачесаны назад. А на руках топорщатся, переливаясь на солнце, желтые блестящие ворсинки. Глаза у него всегда с прищуром. Даже тогда, когда он не курит.

Папироска, потрескивая и искря, при каждой затяжке яро краснеет, обрастает пеплом и быстро подбирается к мундштуку.

Смачно поплевав на нее, Колька отработанным щелчком бросает окурок в крапиву, обтирает о штаны обслюнявленные пальцы и молча уходит на сеновал спать. Так у пастухов заведено.

Я остаюсь один, снимаю с гвоздя колькину кепку и примеряю — великовата. От кепки пахнет солнцем вперемежку с потом и сеном.

Иду в баню и тоже ложусь отдохнуть. Пастушня — дело серьезное.

...Сухие без эха звуки пастушьей барабанки услышал сквозь сон. Вскочил и бегом на улицу.

Стадо уже стекало под гору и, подняв дорожную пыль, отмахивалось хвостами от оводов.

Колька Осипов ждал меня у своего дома с отцовской плеткой. Я же свою, подаренную мне на день рождения, забыл в саду.

Мы с Колькой молча входим в душное, гудящее слепнями и мухами, облако и не в такт частим по обе стороны от пастуха. Земля под ногами как будто дрожит — глухое шарканье копыт, овечье блеянье и шумные вздохи коров.

— Куда погоним? — кричу пастуху.

— Под Исаково...

Пыль уже въелась в глаза, забила нос и, словно стеклянная крошка, противно зашкрипела на зубах. За деревней, спасаясь от нее, мы с Колькой обогнали стадо и вприпрыжку, сбивая босыми ногами головки ромашек, побежали под гору.

Остановились внизу у речки. Там, где ее переходит стадо.

Река у нас мелкая. Воробей перейдет, пузо не замочит. От берега до берега метра два-три — не больше. По серому, как овечья шкура, каменистому дну вода бежит тихо, будто на цыпочках, и только на самой середине неспешно заплетается в прозрачную косичку с бантиками из солнечных зайчиков.

Мы с Колькой знаем места, где растет на ее берегах, заросших кустами бредины и глухим ольшаником, красная и

черная смородина, но ходить туда боимся. Там много цепкой и липкой паутины.

Мы стоим у реки и ждем, когда подойдет стадо.

Колька, съезжившись, потрогал пальцами ноги речную воду и тут же, как от огня, с криком ее отдернул.

— Чур, ты, первый, чур, ты, чур, ты! — скороговоркой запричитал он.

Я спорить не стал — первый, так первый — и, подтянув штаны, брезгливо, как в сырой сапог, сунул босую ступню в рванный коровий след. Вода в нем будто обожгла. У меня дыхание перехватило.

Я набрал воздуха, закрыл глаза и на носочках скорехонько перебежал на другой берег. Даже серебряных искр-брызг и тех из нее не успел высечь.

Колька у края речки держится за живот и смеется. Он и не думал ее переходить. Помахал мне насмешливо рукой и пошел навстречу стаду.

Ну и ладно, решил я обидеться, но тут же передумал и со всех ног бросился на исаковский холм.

С холма видно все, как на ладони.

У реки лениво топчется стадо.

Колька стоит по шею в пыльной завесе, что-то кричит и машет плеткой, но коровы, телята и овцы на него не обращают внимания. Каждая животина, измученная мошкаррой и разморенная зноем, прежде чем перейти речку, хочет досыта из нее напиться и потому терпеливо ждет на берегу своей очереди.

Сажусь на горячий валун, снимаю с подорожника Божью коровку и рассматриваю ее на тыльной стороне ладони. Она перебирает щекотливыми ножками и пытается взлететь. Ее красные в горошек крылья похожи на скорлупу пасхального яичка. Она хрустит и трескается по середине, а из-под нее с шелестом выскальзывают светло-коричневые пленки-подкрылки.

— Божья коровка, — вслух приговариваю я, — улетай на небо, там твои детки кушают котлетки...

Но Божья коровка улетать не хотела. Тогда я подбросил ее вверх и потерял из виду.

Тем временем стадо уже переправилось через реку и расплзлось по ложине у подножья холма. Коровы, спасаясь от оводов, зарывались в прибрежные кусты, а овцы бегали от барана по выбитому копытами порыжевшему склону.

По колена грязный Колька волок по сухой траве мокрую пастушью плетъ и с отяжкой хлестал своей плеткой. С конца ее озлобленно и с шипом срывались сырые хлопки и тут же гасли.

— Дай хлопнуть, — прошу у него.

— Не дам, — ломается Колька. — Убежал от нас — вот и сиди тут...

От реки с веткой бредины поднимается в гору Колька Корзинкин. Голенища сапог, размоченные в воде, мутно поблескивают. Забрызганные штаны на коленках почернели, а из кармана, как раскрытый вороний клюв, торчит козырьком наружу скомканная серая кепка. Во рту пастуха из угла в угол гуляет измочаленная зубами папироска.

— Пить кто хочет? — он ловко со спины на бок перекинул истертую почтальонскую сумку и достал из нее запотевшую бутылку с клюквенным морсом. Он охлаждал ее в реке под корягой. — Ну, кто первый?

У Кольки руки были заняты.

И я на глазах у него, завидующего, начинаю пить.

Колька считает мои глотки и готов осадить меня по спине отцовской плеткой.

Я обтер ладонью губы и протянул бутылку пастуху. Пусть сам передает ее Кольке.

Колька бросил на землю плетъ, взял бутылку и запрокинул голову. Его острый кадычок жадно заметался под белой с разводами грязи кожей. Я глядел на него и жалел, что мало отпил.

— А теперь за дело, — говорит, опустившись на валун, Колька Корзинкин. — Ты, — повернулся ко мне, — беги

к липе на ту сторону оврага и следы, чтобы овцы за нее не бежали — заворачивай. — А ты, — он перевел взгляд на Кольку, — ты с плетью — на тебе коровы. Особенно за Горбылем смотри. Он, как черт шелудивый, все в лес норовит. Убежит — не найдемся, понял? Ну, давайте — по местам, а я тут посижу. Если что — кричите...

Другу моему пастух доверяет больше. Колька уверенно закинул на плечо тяжелую плеть, искоса взглянул на меня и небрежно бросил к моим ногам плетку.

— На, держи — да не потеряй...

Я молча поднимаю плетку и, не говоря ни слова, ухожу к липе — крыть мне было нечем. Колька умеет и лошадь запрягать, и свистки из ивовых прутьев делать, и плетью он хлопает куда лучше меня.

Солнце исходит зноем. Припекает даже в тени под липой. Слепни будто взбесились, и гоняются уже друг за дружкой. Белесая мерцающая хмарь висит над холмом и церковью. Небо над макушками елок выгорело до застиранной белизны. Редкие облака проступают над горизонтом и без следа растворяются в раскаленном воздухе.

Босые ступни горят. Под ними хрустит жесткая, как проволока, спаленная солнцем трава. На пригорке, как запекшиеся капли крови, чернеют кое-где сморщенные ягоды земляники. Я сорвал одну, разжевал и тут же выплюнул — к языку прилипли сухие безвкусные крошки.

Стадо сбилось почти к самой речке. Колька выгоняет коров из кустов. Его светло-рыжая головка мечется между ветками, как солнечный зайчик.

Мне было жалко Кольку. Коровы не слушались его, вскидывали искусанные морды и напролом лезли в густые заросли ольшаника.

Даже на холме слышу я, как шуршат листья и как потрескивают под ногами коряги да сучки.

То ли дело овцы. Улеглись дружно в болотине и жуют себе травку. С ними у меня никаких забот.

Сижу под липой и в небо поплеываю — назло Кольке. Жаль, что он не видит. Заревел бы от зависти. Хотя, по правде сказать, мне без него уже скучно. Я успел обежать все пригорки, вволю похлопать плеткой и не раз пересчитать порученных мне овец. И потому подумал-подумал и решил помочь другу...

День на пастушне тянется дольше, чем в деревне. Кажется, что ему и конца не будет. Вот и жара поспала уже, и солнце не так жжется, и овода, обессилев, поугомонились, и коровы давно не рвутся в лес, а мы все сидим на холме и сидим.

Я смотрю в сторону деревни. Ее из-за холмов не видно — до нашей горы еще идти и идти. Уж скорей бы!

Друг мой закадычный чешет на ногах старые болячки и, размазав слюну на листке подорожника, прикладывает его на свежие царапины.

Колька Корзинкин, высунув от усердия малиновый язычок, вырезает ножиком узоры на черемуховой палке — красивый получается посох.

— Скажи, а ты Лешего видел? — спрашиваю у него.

— Видел и не раз, — не отрываясь от работы, всерьез отвечает Колька.

— А какой он?

— Обыкновенный — как человек. Только весь в листьях, как веник. На голове листья березовые, борода из ивовых, на руках и ногах — осинового, а на спине и животе — кленовые. Ходит и шуршит. Веселый такой — коров по утрам иногда пугает...

— Вот бы поглядеть на него, — вздыхает мой дружок Колька. — Он и разговаривает?

— Врать не буду — не слышал. — Колька Корзинкин посмотрел на часы, потом на небо и торжественно объявил. — Все, мужики, пора гнать домой... Собираем стадо!..

Обратно мы уже не бежим впереди стада, а идем за ним и гордо входим в деревню вместе с пастухом...



КИНОПЕРЕДВИЖКА

Вчера от Толи Куликова узнал, что завтра, когда стемнеет, в Сумарокове у пруда будут показывать кино.

Там, как мне объяснил дед, есть движок, который вырабатывает электричество. Он стоит в каменной башенке, сохранившейся от прежнего монастыря.

По вечерам движок заводят, как трактор, и в домах зажигается свет. Не такой, какой задуваем мы от фитилька, а какой-то другой — яркий и без копоти.

Однажды дед водил меня в инвалидный дом фотографироваться, и там под потолком я видел рядом с керосиновой лампой маленькую стеклянную, похожую на вытянутую свеклу.

Потому в Сумарокове, а не у нас, и показывают летом кино.

Я упросил дядю Толя взять меня с собой. Он согласился, но при условии, если отпустит бабушка.

Вечером за ужином я обо всем рассказал деду.

Дед разрешил, а бабушка, поворчав, не посмела ему перечить. К Толе Куликову они относились уважительно и доверяли ему...

На следующий день прибежал в Сумароково пораньше. Часа за два до начала.

От нашей деревни до села и всего-то — с горы на гору.

Подхожу к пруду в центре села. На берегу между стволами елок висит на веревочных растяжках старая застиранная простынь — грязновато-белая, жеванная и вся в трещинках.

Я с интересом обошел вокруг и обнаружил на ней еще и две лохматые дырки.

Может, местные мальчишки продырявили? — подумал я. — Но зачем? Ведь на нем будут показывать кино.

Первый-то в своей жизни фильм я смотрел еще на стене большого амбара на краю Сумарокова и, скособочась, сидел наверху поленницы, пахнувшей осиновой прелью.

А теперь любо-дорого! Перед экраном, как на параде, стоят на лужайке шесть рядов вкопанных в землю широких лавок, пусть даже и занозистых, но уж лучше сидеть на них, чем на ребристых поленницах и мокрой от росы траве.

Даже вытопленная на солнце смола и та застывает на плохо выстроганных досках медленно и торжественно. Трава вокруг скамеек припорошена сухими, как крупа, опилками. Задиристые щепки и завитые рубанком стружки наспех свалены у последнего ряда в пышную лохматую кучу.

Мне пока делать нечего.

Сажу на скамейке у пруда и смотрю, как от черной липы крадется по траве бесшумная тень. Скоро она коснется моих босых ног и остудит свежие не затянувшиеся еще царапины.

В воздухе стоит звенящий гул: от нудных комаров и слюдяных стрекоз, от неугомонных слепней и бесцеремонных мух.

Из-за пруда потянуло вкусным дымком. Наверно, от затопленной в саду баньки.

Как никак суббота!

Сумароково не деревня, а село. Здесь стоит монастырь. Правда, монашки в нем давно не живут — разъехались кто куда. А раньше, вспоминает бабушка, за оградой было чисто и красиво. На клумбах росли цветы и кусты чайных

и белых роз. Даже дно у большого с островом пруда — не у этого, у которого сижу — у другого, что на хуторе — было выложено плиткой. Правда, нет ли — не знаю. Наверно, правда. Бабушка зря говорить не будет.

Нынче в главном храме — колхозные мастерские, а в церкви — склад и заправка.

В прежних монастырских постройках живут инвалиды. Их привозят сюда из разных мест.

Вообще, от монастыря на селе много чего осталось: двухэтажные дома, въездные ворота, большой сад, липовая аллея, красная кирпичная ограда с башенками на углах. В одной из них, в центре, и стоит электрический движок.

В Сумарокове много грачей и голубей. У нас в Попове только вороны на помойках да сороки на столбах. Ну, еще воробьи, но они везде есть.

И деревья на селе не такие, как у нас. Они выше и раскидистей, особенно у церкви, с огромными черными гнездами. По весне и осенью с нашего холма видно, как грачиные стаи, черня и пятная небо, с криками зависают над деревьями и потом, как крупный пепел, оседают на их взъерошенные верхушки.

В Сумарокове я бываю нечасто. И только тогда, когда сам попрошусь с бабушкой в магазин.

Вот на будущий год буду ходить сюда в школу каждый день. И не один, а с Колькой и Ленкой Семичевой. Мы будем учиться в одном классе. Пока же из нашей деревни в школу ходит только Глашка Мошкова — она всех старше.

В Сумарокове и запахи не как в Попове. У нас от конюшни, а здесь от тракторов и машин.

Но я люблю сюда приходить. Здесь другой мир и люди тоже как будто не такие.

А сегодня первый раз я прибежал сюда один. Даже Толи Куликова пока не видно.

А нет — вот и он — легок на помине.

Можно сказать, после меня — первый зритель.

Таким нарядным и бравым я его никогда и не видел.

Идет вразвалочку, но не так, как по деревне, глаза вниз. Тут у него плечи расправлены, и грудь обнажена чуть ли не до пупа. Глаза навывкате. В них озорная усмешка и хмельные искорки. На лбу мелкая испарина. Видно, после бани. Темные волосы еще не высохли и зачесаны назад — волосинка к волосинке. На поясе, не вдетый в проймы, туго застегнут потертый армейский ремень с начищенной бляхой. Одна рука в кармане, на другой, согнутой в локте, лежит аккуратно сложенный пиджак.

За спиной белым облаком пузырится выбившаяся из-под серых наглаженных брюк рубаша. Наодеколонен так, что хоть нос затыкай.

Жених да и только! — сказала бы моя бабушка.

Толя подмигнул мне и пошел в сторону аллеи, где под липами уже давно топчутся две расфуфыренные модницы.

Одна высокая и рыжая, как кленовый лист, и платье такого же цвета — только выгоревшее. Ножки кривые и тонкие — в кремовых носочках. Туфли красные с блестящими застежками. Букетом завянувших ромашек нехотя отгоняет от бледных щек клубящуюся мошкарку.

Другая, наоборот — полная и румяная — в белой кофточке с красной брошью и в черной юбке под узеньким ремешком. Светлые волосы забраны в широкую косу. Коса лежит на мягком плече, а в нее вплетена синяя лента, завязанная на хвосте веселым бантиком. На ногах пухленькие ботики, а в руке желтый капроновый платок.

Вторая мне понравилась больше.

Подошел Толя, что-то сказал им, и девчонки смущенно, опуская глаза, захихикали.

Пока я наблюдал за ними, ко мне подсел Жорка-дурак из инвалидного дома. Я и раньше видел его у магазина. Бабушка говорит, что он для мальчишек, которые тайком от взрослых курят, покупает махорку и папиросы.

Жора, похоже, в любую погоду при полном параде. На острых его плечах обвис просторный солдатский китель, сплошь увешанный значками. Я таких и не видывал — яркие и красивые. Даже медали у Жоры и те настоящие.

На морщинистый лоб то и дело спадает милицейская фуражка с треснутым козырьком. В редких давно невымытых волосах путается сенная труха. Видно, прямо со скотного двора.

Жора вытаскивает из кармана казенных голубоватосерых штанов мятую пачку папирос.

— Будес? — по-мужицки серьезно предлагает мне.

— Не, — качаю головой, встаю и от греха подальше отхожу.

Он закуривает и к нему — откуда ни возьмись! — прыснули, как воробы, местные мальчишки и воровато заворковали вокруг него в настороженной тишине июльского вечера.

Я их никого не знал, и потому они смотрели косо, но, слава Богу, не задирали — им было не до меня.

Я заметил, как Жора украдкой раздавал им папиросы.

Скорей бы уж кино!..

Народ повалил как-то разом и со всех сторон — малый и старый. Зрители трогали ладонью доски, подстилали, чертыхаясь, на них траву и тряпки и с опаской рассаживались на смолистые и занозистые скамейки.

Все равно на лавках лучше, чем на земле.

Между рядами уже ходит важная и строгая билетерша с коричневой сумкой на животе. В сумку она ссыпает с ладони мелочь и, поплевав на пальцы, не глядя, отрывает от синей книжечки плотные билетики.

Молодой киномеханик, прикусив измусоленную папироску, ловко заряжает в аппарат хрустящую на сгибах пленку.

Дым попадает ему в глаза, и он, прищуриваясь, попеременно мигает ими, будто перед кем кривляется, и еще

беспреданно мотает заросшей головой, пытаюсь рывком забросить набок пышный и непослушный чуб.

Я стою рядом, прижавшись спиной к теплому стволу толстой шершавой елки, и внимательно слежу за каждым его движением.

Вот ведь какое хитрое дело — сказал бы, увидев аппарат, дедушка и удивленный тоже помотал бы головой — чудо, да и только!

И мне тоже все интересно.

Вот, наконец, зашелестел и застрекотал на железных ходулях проектор.

В густых сумерках над головами задрожала рассеянная мутно-желтая световая дорожка, и по экрану беспорядочно заматались вспышки огоньков и рваных крестиков.

В черном ящике, висевшем на елке, что-то вдруг засопело и зашуршало — потом стихло.

В следующее мгновение из него вырвалась музыка — хрипло, как с затасканной патефонной пластинки.

Экран тускло засветился и как будто ожил, жестко натянутый между старыми елями.

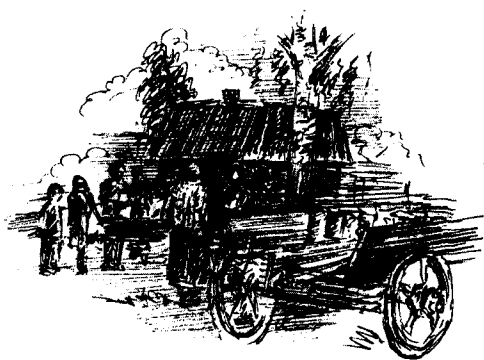
Начался индийский фильм.

Я смотрел его с разных мест. То рядом с киномехаником, привставая на цыпочки, то убежал на берег пруда и разглядывал экран с обратной стороны.

Я следил за соломенным пучком света, усеянного комарами, и сверху, забравшись на черемуху, и все никак не мог понять, как и откуда появляются на нем живые люди.

Это был второй фильм в моей жизни...





ЯРМАРКА

Ура! Завтра утром я первый раз еду на ярмарку в Су-санино.

Дед за ужином так и сказал:

— Пора и тебе, внук, посмотреть мир.

Бабушка по привычке попеняла деду:

— Чего удумал-то! Дело ли — в такую дорогу, а если случится что.

— Что случится, то и будет, — спокойно ответил дед, и она по его голосу поняла, что лучше не перечить.

В таких случаях спать ложусь пораньше, но, как назло, долго не могу уснуть. Так бывает всегда, когда я с нетерпением жду утра. Будь моя воля — выехал бы с вечера...

А долгожданное утро опять застало меня врасплох. Открываю глаза, а надо мной уже стоят дед с бабушкой.

— Не передумал? — спрашивает дед и, не дожидаясь ответа, командует, — тогда одевайся!

Бабушка подает мне белую рубашку и выглаженные черные брюки.

Перед дальней дорогой так именно и бывает. Сперва я одеваюсь, а уж потом только иду к умывальнику...

Но вот все сборы позади, и мы на скрипучей телеге, груженной валенками и граблями, медленно и неизвестно куда выезжаем из обжитого и родного заулка.

До Костина дорога скучная, потому как она мне знакома: здесь, у Исаковского холма, я пас скотину с Колькой Корзинкиным.

А вот за Костиным, если спуститься с холма на холм, уже другая деревня — Ивашево.

Там я еще не бывал.

Это на ее крыши, если смотреть с Колькиного крыльца, опирается горизонт, за который мне так хочется заглянуть, и это за ее околицей скрывается мир, пока мне неизвестный.

Колеса натужно скрипят, лошадь, уткнувшись носом в колею, рывками тянет телегу в гору и с храпом отфыркивается.

Бабушка по привычке подергивает вожжами и, причмокивая, ласково ее понукает.

Дед молча сидит сзади и думает о чем-то своем.

Я спрыгнул с телеги и побежал за ней.

Небо, еще минуту назад лежавшее на трубах деревенских изб, с каждым шагом поднималось вверх и на глазах отодвигалось в даль, а рядом, по обеим сторонам, били мне поклоны такие же, как и у нашей дороги, запыленные кусты бредины и сонно зевали заросшие бурьяном канавы.

Когда мы въехали в гору, горизонт от меня вдруг взял да и отскочил за резные верхушки дремучего леса и, уже в который раз испытывая меня, таинственно за ним притаился.

Он дразнил меня всю дорогу до Сусанина, но я так и не смог к нему приблизиться и тем более за него заглянуть.

Дорога петляла между перелесками, и за каждым поворотом открывались новые деревушки, такие же, как и Попово: в заулках бродили ленивые курицы, над крышами громоздились густые кроны берез и тополей, а под самыми окнами свисали охапками с палисадов кусты сирени и акаций.

Только лица людей, припавших к оконным стеклам, были чужие, и собаки при виде нас оскальвались зло и

даже свирепо, лаяли так громко и подбегали к телеге так близко, что приходилось поднимать ноги и прятать их за спиной у бабушки.

Так что пока ничего нового я для себя не открыл.

За деревней, когда собаки от нас отстают, я спрыгиваю на землю и иду рядом с телегой по обочине.

Трава под ногами жесткая и пыльная. В канавах на самом дне покоится подернутая липкой пленкой застоявшаяся вода.

Солнце припекает даже через камилавку.

— Далеко еще? — спрашиваю у деда.

— А вон за той деревней, — показывает дед в сторону осиновых зарослей, — видишь за кустами крыши. За ними еще одна гора, а там, на большом холме, уже и Сусанино.

Смотрю на тележное колесо, окованное железом. Оно по самый обод мягко увязает в горячей пыли. Мутное облачко сначала висит между спицами, а потом долго дымится над проселком, оседая на мои черные брюки и на придорожные лопухи.

Колеса, густо смазанные солидолом, шуршат и посапывают. Сбруя на потных лошадиных боках поскрипывает, а над ее лоснящимся хребтом чиркают в раскаленном воздухе слепни да мухи.

Так и едем.

Дед всю дорогу молчит, выкинув над телегой хромую ногу в коричневой тапке.

Бабушка, опустив вожжи, для порядка понукает послушную лошадь и скользит взглядом поверх канавы, будто пересчитывает на обочине выгоревшие на солнце бледные васильки и растрепанные дождем и ветром сиротливые ромашки.

А я иду чуть поодаль от них, чтобы не скрипеть пылью на зубах, и под нос себе насвистываю невесть что.

В траве на все лады стрекочут кузнечики. Над желтыми лужами с парной водой порхают беззаботно белые не-

самые бабочки. Над ухом зудит надоедливая, голодная и прилипчивая мошкара.

Ни ветерка в поле. Ни облачка на небе.

— Вовулька! — позвал меня дед. — Иди что покажу.

Украшенное лиловым бархатом клеверное поле осталось позади, и лошадь, почуяв прохладу, сама вдруг ускорила шаг и резво рванула под широкие лапы вековых елей. Плотная тень, как влажная марля, коснулась моего лица и сразу остудила разгоряченные щеки.

Я запрыгнул на телегу и сел рядом с дедом на подстеленную фуфайку.

— Сейчас я покажу тебе часовню, — глубокомысленно сказал дед и прижал меня к себе.

Мы выехали на поляну, и на взгорье под плакучей кроной старой березы я увидел маленькую одноглавую церквушку из красного кирпича.

— Вот она, — дед перекрестился, — видишь, какая красавица! — И сразу оживился. — В честь Ивана Сусанина. Помнишь, я тебе рассказывал, как он царя русского спас и поляков в болото завел, а сам не вернулся. Тут дом его стоял. Деревни давно нет, а память о герое жива.

— Дюдь, а где болото, в котором он утонул, — спросил я.

— Не утонул, а погиб, — поправил меня дед. — Он жизнь свою за царя отдал, а ты утонул. А болото вот за этим лесом как раз и будет — между холмами.

Часовенка и верно была ладная, как будто из одного камня выточенная. С любовью, зная, мастера ее строили. Кирпич к кирпичу ровно подогнан. Даже наличники на окнах выложены затейливо.

— Ну вот, скоро уже и прибудем, — подбадривал меня дед. — Не одни мы, внук, на ярмарку едем — со всех сторон народ собирается. Будет на что посмотреть. А пока погрызи витушку, а нет — так ложись на колени и подремли.

Всю оставшуюся дорогу проехали молча.

Не так скоро, как обещал дед (успел я и подремать), но, наконец, часам к одиннадцати утра добрались мы и до Сусанина. Далеко, однако, возит бабушка по первопутку колхозный лен!

Столько народу, как здесь, я в жизни своей еще не видел.

Оставляем бабушку у телеги, а сами идем осматривать ярмарку.

— Сначала, внук, надо оглядеться, — говорит дед, — и прицениться, и уж только потом свой товар раскладывать.

Дед крепко держит меня за руку.

Я кручу головой, но пока ничего, кроме людей, не вижу.

Опущу глаза — у земли мелькают, семят и топчутся на мостовой, мощеной булыжником, десятки беспокойных ног — в сапогах и в ботинках, в туфлях и в тапках.

Подниму — и сразу уткнусь взглядом в чью-нибудь спину, а посмотрю чуть повыше — вокруг распаренные лица да вспотевшие затылки.

Пыль стоит выше меня и такая густая, что забивает до сухоты нос и до слез разъедает глаза.

Деду с хромой ногой в бестолковой толпе совсем худо, но он правит через нее на удивленье уверенно.

Я иногда отстаю и наступаю ему на пятки, тогда он рывком вытаскивает меня из-за спины и снова приставляет рядом с собой.

Все куда-то бегут и чего-то ищут, друг друга задевают и толкают, что-то через головы кричат и привстают на цыпочки, вытягивают шею и тянут к чему-то руки.

У меня от всего этого даже закружилась голова, и на миг потемнело в глазах.

А дед вдруг наклоняется ко мне и, как ни в чем не бывало, улыбается:

— Во, как ярмарка-то бурлит! Такого народа и я не помню.

Наконец, выходим на край площади. Здесь не так людно и пыльно.

Под березой, укрывшись в тень, стоят подводы с разложенным на них товаром.

Подходим к крайней.

— С прибытием, Иваныч! — здороваются дед с мужиком, раздетым до пояса. — Как нынче торговля?

— А никак — только подъехали.

На телеге парами лежат такие же валенки, как и у нас. Было видно, что дед с этим каталом знаком давно, но встречаются они с ним только на ярмарке.

— Уж не знаю, будут ли в такую жару и брать, — вздыхает Иваныч и почесывает загорелой пятерней мокрую волосатую грудь. — На валенки глянешь и совсем дух испустишь.

— Уж как пойдет, — соглашается дед. — Хороший хозяин и сани летом готовит...

— Так-то оно так. Хоть бы дорогу оправдать и то ладно.

Пока дед разговаривает с Иванычем, я уже со стороны гляжу на гудящий под палящим солнцем пестрый ярмарочный улей. И так мне не хочется вновь пробираться сквозь него и дышать песочной пылью. Стоять бы тут в тени под березой, а еще лучше сесть на край телеги, свесить босые ноги и наблюдать, как из засады, за суетливой торговой площадью.

Но вот дед налету ловко подхватывает мою руку, зажимает ее в свою потную ладонь, и мы снова растворяемся в многоликой, по-праздничному веселой и разноголосой толпе...

Бабушка, поджидая нас, заметно нервничала и сходу отругала деда за долгую отлучку.

Около нас уже толпится любопытный люд.

Дед не торопясь распаковал кули, разложил на днище валенки, выставил грабли, снял кепку и сел на край телеги, а мы с бабушкой пошли по магазинам.

На ярмарке я немножко пообжился и теперь не чувствовал себя среди людей так растерянно, как полчаса назад. Да и сама площадь была не такая уж и большая, какой мне показалась поначалу.

Народ тоже вроде как поуспокоился. У телег и у прилавков места хватало всем. К ним можно было без труда подойти и рассмотреть привезенные на продажу товары.

Разглядываю те, к которым приценивается бабушка. Она меня не отпускает ни на шаг.

Останавливаемся у лотка с пряжей и нитками. Каких цветов тут только нет! Переливаются, как радуга.

На соседнем столе желтеют банки с медом.

Чуть дальше, но уже на земле стоят ребристыми стопками круглые решета и отливают на солнце отполированными до блеска боками и тоже, как будто медовыми.

У красной стены кирпичного дома белеют рядом деревянные санки. Такие, круто загнутые, дед умеет делать сам. Он и кадки для грибов и капусты сам мастерит, и черенки для вил и лопат, и стол раздвижной.

Бабушка идет медленно, и я успеваю краем глаза заглянуть даже в картонные коробки с конфетами. Какие на них красивые фантики!

А вот телега, сплошь уставленная новенькими фигурными кринками и глиняными горшками. Одни красноватые, но какие-то сухие и потухшие, а другие покрыты глазурью и празднично блестят на солнце. На днище они теснятся, как птенцы в гнезде, и кричат во все горло.

Наконец, заходим в магазин, и тут от неожиданности у меня перехватывает дыханье. На полке за спиной у продавца я вижу резиновые сапоги. Они стоят во всей своей красе, такие же блестящие, как у Кольки, с высокими голенищами и даже лучше, чем у него.

Я с радостью дергаю бабушку за руку:

— Баб, купи!

Бабушка рукой же и одергивает меня. Дескать, подожди, не мешай.

— Баб, купи! — не отстаю я.

Бабушка строго поглядела на меня и попросила толстую продавщицу показать сапоги.

— Ну-ка, примеряй...

У меня даже сердечко остановилось от счастья и страха. А вдруг не подойдут?

Сапоги у меня в руках. Даже не верится. Какой сладкий запах исходил из красного голенища. Я украдкой ощупывал их потными пальцами. Какие скользкие они снаружи и какие бархатные внутри! Мне показалось, что сапоги, когда я их примерял, поскрипывали с радостью и надеждой, что мы с ними уже никогда не расстанемся.

Слава Богу! Сапоги пришлись в пору. Я был счастлив!

Ярмарка для меня на этом закончилась.

С новыми сапогами мы вернулись к деду. Он уже все распродал и сидел на телеге, отгоняя от лица березовой веткой одиноких сытых слепней.

Увидев нас, дед оживает.

— С покупкой, милый внук. А ты боялся, что останешься без сапог. На, держи-ка и мой подарок, — он с улыбкой протягивает мне глиняного петушка. — По дороге волков отгонять будешь.

Я беру с его широкой ладони раскрашенную под петуха игрушку и, радуясь подарку, подношу ко рту и, что есть силы, дую в дырку на хвосте — раздается сиплый с шипящим воздухом свист.

— Не так, давай покажу. Сильней надо. И дырку на боку пальцем прикрывай.

Дед берет петуха и по-мальчишески раздувает спаленные на солнце щеки. У него свист получается чистый и громкий.

— Вот так — пробуй.

Теперь я свищу, как надо, чтобы понравилось деду.

— Молодец!

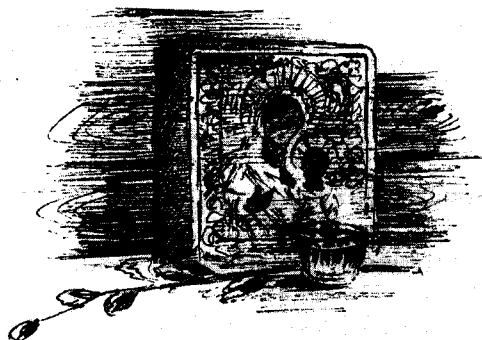
Пока мы с дедом свистели, бабушка наскоро прибралась на телеге и, видя, что дед успел с кем-то выпить и изрядно захмелеть, скомандовала сама:

— Пора домой.

Мы послушно сели, и бабушка, сердито причмокнув губами, подхлестнула вожжами лошадь.

Обратную дорогу я уже с телеги не слезал и где-то сразу за Сусаниным счастливый уснул у деда на коленях...





СВАДЬБА

Сегодня у Цветковых свадьба!

У Марьи женится сын Сашка. Он взял в жены красивую девушку из-за леса. Нас тоже пригласили. Как никак живем в деревне по соседству.

С вечера бабушка зажгла лампадку у иконы, которую она перенесла в баню. Почти невесомое пламя, отлетая от фитилька, висит над ним и в тишине чуть слышно шелестит. Оно напоминает мне маленькое сердечко — живое и трепетное.

На окладе тускло поблескивает мутная позолота. Тихий лампадный свет, мягко растекаясь по сальному надтреснутому стеклу, высвечивает под ним угловатые фигуры матери с ребенком.

Я знаю, что с иконы смотрит на меня сама Царица Небесная — наша заступница.

— Спаси и сохрани, матушка Пресвятая Богородица, — шепчу я губами и склоняю голову.

Так научила меня бабушка.

Перед завтрашним торжеством я, как всегда, ложусь спать пораньше, чтобы поскорее прошла ночь, и наступило утро...

Просыпаюсь рано и радуюсь. Скоро пойдем в гости!

Я так люблю, когда в деревне праздник!..

Дед по этому случаю затевает долгое бритье. Но не перед трюмо, как в старой избе, а на улице. Правит на солдатском ремне бритву. На кряжике пахтает в мыльнице помазком пену. Щетина у деда жесткая — легко бритве не дается. Он поскоблит щеки и пополощет в кружке лезвие. Поскребет второй раз. И опять шлепает по шее помазком.

— Ну, скоро ты, — не выдерживает бабушка, — пора уж выходить...

— Не говори под руку, — сердится дед и, смачивая слюной заранее приготовленную бумажку, приклеивает ее на ранку у виска. Редко когда он заканчивает бритье без порезов.

Бабушка нарядно одетая суетится в предбаннике.

На ней голубое в горошек платье с длинными рукавами. Волосы гладко зачесаны и на затылке фигурно уложены в косу.

— Ну, слава Богу, — укоризненно качает головой бабушка, — никак отмаялся...

Дед звонко хлопает по щекам ладошами, и вокруг него клубами расходится терпкий запах тройного одеколona.

— Оболокайся! — командует бабушка и подает синюю косоворотку.

На стене в старой избе в рамке висела фотография, сделанная после их свадьбы.

Я часто смотрел на нее, а потом на них, нынешних, сравнивал и успокаивался. Нет, они еще у меня не старые...

Хозяйка встретила нас у порога.

За столом уже во всю гудела свадьба.

Марья потрепала меня по голове и сунула в карман конфету.

Я стоял перед ней в новых блестящих ботинках и в брюках с проймами крест на крест.

Деда с бабушкой кое-как усадили в углу у окошка, а я, как и на всех других праздниках, залез на печку и сверху стал наблюдать за гостями.

Застолье — это первая часть праздника, но я больше люблю вторую — плясовую и песенную.

Жених ни жив, ни мертв — белей невестинного платья. Сидит, словно кол проглотил. Глядит на суженую и глаз с нее не сводит.

А она дрожит, как перышко на ветру, трепещет. Того и гляди — вспорхнет над столом и закружится.

— Ой, хороша, ой, гожа девка! — слышу голос Вани Тяпкина. — Что ни щека, то красно яблочко...

Что правда, то правда. Мне тоже невеста очень нравится!

Ваня Тяпкин не ждет, когда ему нальют, а сам за собой ухаживает и исправно потчует. Жена у него ленивая, а дома у них, как говорит бабушка, всегда пусто, а на чужой свадьбе только и делай, что ешь, запивай да наливай.

Вот Ваня в гостях и разговляется.

Вижу, как Коля Михайлов, плут и озорник, приталил Тоньку Круглову из Сумарокова.

— Эх, ты чертова егоза, — толкает его в бок корявая с лица жена Фаина. — Постыдился бы, старое ошметье...

Фаина ревнивая. Еда ей и питье теперь поперек горла. Вот и ерзает она на скамейке. Носом шмыгает и на мужа дуется. А Коля уже изрядно опьянел, и, знай, обхаживает Тоньку. Тонька рада. Даже выгнулась от удовольствия. То и дело отворачивается от Фаины и прыскает смехом в пухлый кулачок.

В углу важно восседает Марья Крюкова. Руки на животе сложила, не шелохнется. Красная, как свекла. Бабушка так про нее и говорит: ей бы только пить да есть.

Самый шумный гость, как всегда, Леха Семичев. Он, когда выпьет, делается очень разговорчивым. Бабушка его за это не любит.

По правую руку от него сидит жена Алевтина. Тоже бойкая и голосистая женщина, а по левую — Семичиха, его мать.

У Семичихи все лицо испятнано оспой. Она даже платок с головы никогда не снимает и так его повязывает, чтобы из-под него ни лба, ни щек не было видно.

Зная характер сына, она и сейчас, услышав его голос, тут же под столом одергивает его за штанину:

— Не балаболь, балаболка...

— Ладно, мать, не шуми, — отмахивается от нее дядя Леша, — дай с людьми потолковать...

Слышу смотрящие в прихожей сговариваются. Знать, скоро чарочку запоют. Никого не пропустят, всех гостей обойдут и с каждого себе на угощение стребуют.

Панова идет, Нинка, — пробежал по избе говорок.

— Господи Иуся, — затягивает, перекрестившись на образа, Нинка, и начинается новое представление, — за девью красоту беруся. Из-под бруса выхожу, восковы свечи зажгу...

Плавно ведет, красиво. Нинка на все праздники ходит, и ей во всех домах рады.

— Мы за девьей красотой ходили, ручки ознобили, перчатки изорвали, нас маменьки ругали. Наш козел-то стар в гору стал, идти не идет — только бородой трясет.

— Гожо шпарит, — снова слышу голос Вани Тяпки-на, — как прежде, ведет! И повадки гладки, и речь складна, и душа видна...

— Я по полику ступаю, по тесовому ступаю. Эх ты, пятка-носок, соловьиный голосок. Доступаюся до вас — беспокою сватья вас.

Засуетилась Марья Васина, бутылку под фартук спрятала — довольнехонькая!

— Здравсте, сватушки приезжие и свахоньки любезные! Не всем поименно, но всем низкий поклон. Здравствуй зять молодой с умной головой, с редкой бородой. Щечки налитые, кудри завитые. Дайте нам знать, как вашу нареченную невесту звать.

— Софья Андреевна!

— Софья Андреевна, дайте знать, как вашего нареченного жениха звать.

— Александр Васильевич!

Александр Васильевич и Софья Андреевна, куда прикажите деву красную: в руках держать или на стол поставить?

Ай-ай, — качает головой Ваня Тяпкин, — растерялась Софья, руками разводит, не знает, куда девать. Ай да, жених, Александр Васильевич — молодчина! Протянул руки и вся недолга...

Смеху-то за столом! Марья Крюкова и та в углу зашевелилась.

— Штрафную Нинке, — кричит Коля Михайлов. — За речи гладки наливай, сват, все вина сладки. Да поболе! Пей, Нинка, знай наших, слышь, Цветковых-то знай!..

Нинка выпила за один дух! И в пляс!

— Во, баба! — крикнул за нее Ваня Тяпкин. — Не каждый мужик так махнет...

Ваня Каюров — пьян ли, нет — поймал за ремень гармонь, уронил голову на самый ее край и залихватски развернул меха. Руки у него как будто трезвые — ладят и не путаются.

*На горе стоят попы,
Под горой апостолы.
Вот и я пошла плясать —
Слава тебе Господи...*

Тонька Круглова грудь в грудь с Колей Михайловым. У Коли чуб, как грива у жеребца — трясется и рассыпается.

Фаина-жена ухватила за концы платка и, как на крыльях, влетела в круг.

Теснит Фаина Тоньку. У Фаины грудь богаче. А Коля, как воробей, топчется с боку припеку и все норовит проскочить между ними.

Изловчился и даже частушку спел:

*Хорошо траву косить,
Которая зеленая.
Хорошо девку любить,
Которая ядреная...*

Разгулялась свадьба!

А вот и моя тетя Нина не удержалась и, уронив стул, выскочила из-за стола. Она пляшет так, как не умеет никто.

В ней все красиво: и высокая лебединая шея, и голова, чуть склоненная набок, и взгляд, словно она любит себя сама со стороны, и руки — гибкие и сильные.

Ее каблуки так часто дробили, что за ними нельзя было уследить. Она выдавала коленца, а на груди ее покоились желтые под янтарь бусы и даже не вздрагивали.

И пела тетя Нина не как все. На носочки приподнимется, платок над головой подбросит и, пока он падает, успевает выпалить:

*Я иду — они пасутся
Два майора на лугу.
Тут уж я и растерялась,
Тут уж я и не могу...*

С такой плясуньей и гармонист устали не знает. И у него пальцы, будто сами по себе по кнопкам мечутся.

У Вани уже пот по щекам струится, и волосы рассыпались на обе стороны, а тетя Нина заходит на новый круг.

Не только я — все на нее любят, и никто на круг не выходит, пока она с него не сойдет.

— Ваня, давай елецкого! — заказывает тетя Нина и, бросив на диван платок, вытаскивает из-за стола мужа.

Раскрасневшийся дядя Валя — я зову его кокой, потому что он мой крестный, — не сопротивляется.

Он тоже любит покуражиться. Вот он, не спеша, снимает пиджак, игриво встряхивает головой, поправляет пальцами волосы и, хлопая себя по груди и коленкам, всерьез выводит себя, как барина, на перепляс.

Довольная тетя Нина, ничего не подозревая, поднимается на носочки и хочет затравить его частушкой. Но тут кавалер ловко подхватывает ее на руки и кружится по избе вместе с нею.

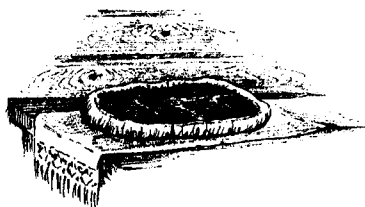
Все смеются, а тетя Нина кричит и размахивает над головой платком.

Жених с невестой поминутно поглядывают друг на друга. Теперь все внимание не на них, а на тех, кто пляшет.

Но для меня все самое интересное уже закончилось. Пора идти к Кольке.

Я слез с печки. Сказался бабушке и выбежал на улицу.

В заулке у Цветковых тоже плясали, но не так, как в избе — дробь на земле не слышно...





ДОМ

Сегодня с утра моросит дождь. Сеется, как сквозь бабушкино сито. И нет ему конца. Тучи висят над крышами неподвижно и так низко, что, кажется, касаются верхушек высоких берез и тополей.

Вышел из бани, нахлобучил на самые брови выгоревшую до желтизны кепку и, съездившись, сел у пруда на осклизшее и уже потемневшее осиновое бревно.

Все лето пробегал вокруг сруба, на котором с утра до вечера колдовали плотники, и не заметил, как он неожиданно и как будто из-под земли вырос в большой дом.

Вот он стоит передо мной, как чудо!

Гляжу на него и по-взрослому думаю. Может, чудес на свете и не бывает, но я в них верю. Я появился на свет не в больнице, а в нашей старой избе на той самой кровати, на которой мы с дедом спим и по сей день. Я семь лет обживал дом, построенный задолго до меня. Я не знал, что и у дома тоже есть свой день рождения и что на земле он появляется не сам по себе и не сразу. Теперь знаю, с чего дом начинается, и видел, как на моих глазах от венца к венцу он поднимался под крышу.

И для меня это было чудом.

Я помню, как на лужайке перед баней дед корил свежие из леса бревна, и как долго на них, ошкуренных,

сочилась на солнце и застывала на ветру медового цвета смола. Я помогал деду, как мог. Стаскивал в кучу еловую кору и даже колол на растопку маленькие кряжики. И руки свои, липкие от смолы, чувствую до сих пор.

Не забыл и первую посаженную на срубках занозу, и боль, когда бабушка иголкой вытаскивала ее у меня из пальца. И запах йода тоже не забыл.

Помню, как из деревянных брусков мы с Колькой строили игрушечные домики для Наташкиных кукол и гаражи для наших машинок под рябиной на берегу пруда.

Вот здесь, где сейчас сию и люблю уже срубленным домом.

Сегодня вокруг него тихо и серо. Только он — теплый, еще неостывший от летней жары стоит под кроной старого тополя и будто силится вознестись над промокшей землей.

Дом замер, будто в испуге. У него, наверно, такое чувство, что его все бросили, и он остался один коротать свой непредсказуемый век.

Не слышен привычный стук топоров. Не веселятся стружки под граблями бабушки. Не перекликаются на крыше озорные плотники, и печник не шуршит обожженными кирпичами и не обглаживает, любовно приговаривая, красавицу-печку.

Даже деревья под окнами, выросшие под приглядом старой избы, еще не стали дому родными, и среди деревенских изб, почерневших под дождем, он выглядит вызывающе ярко и празднично, а его золотистые венцы и в этот пасмурный день источают живой свет уходящего лета.

...Дождь не перестает. Только окрепший ветерок чуть разворошил на небе бесформенные тучи. Кое-где между ними появились мутноватые проталины, но солнцу через них пока не пробиться.

Встаю и захожу в избу.

В избе пока стоит одна печь. Пахнет кирпичами, глиной и песком да еще махорочным дымом самого печника — дяди

Васи из Сумарокова. Пока печь холодная и чужая. У нее нет еще и поластей. Но пройдет время, привыкну и к ней. Обживусь и полюблю.

В избе без перегородок просторно. Я не знаю, где и как дед с бабушкой расставят мебель, но, вспоминая старую избу, примерно догадываюсь.

Там у стены, у бокового окошка, будет стоять наша с дедом железная кровать.

Там, в простенке, бабушка установит комод, а рядом с ним на лавке водрузит фикус в кадке и под него задвинет швейную машину «Зингер».

Шкап и шифоньер, сделанные дедом, скорее всего, будут стоять в углу ближе к печке, а к самой печке прижмется диван с тугими пружинами.

На стенах дед развесит коврики с оленями и семейные фотографии в рамках под стеклом.

На пол, уже покрашенный, бабушка постелет половики, сотканые еще в старой избе.

На окна (а их в доме восемь) повесит узорные занавески.

Трюмо, конечно, опять задвинут в угол.

Круглый стол, само собой, займет место посредине, а над ним умиротворенно, но торжественно будет по вечерам загораться керосиновая лампа с дужками по бокам и зеленой закопченной шляпкой под потолком.

Икону с лампадкой бабушка пристроит в углу перед печкой.

Да, похоже, все так и будет. Так мне кажется. Хотя, может, что-то будет и не так. Но как бы ни было, знаю, что в доме у нас всегда будет чисто, красиво и ладно.

А пока выглядит наш дом, как не оперившийся цыпленок.

Дранка на крыше вся в заусеницах, и кажется мне, что надрали ее не в сарае у Саши Цветкова, а нащипали из первого луча восходящего солнца.

В пазах топорщатся усы жесткого, как проволока, рыжеватого мха.

Застекленные окна еще не украшены резными наличниками, а стены не опушены и не покрашены. И душевной завалинки тоже нет, потому и сижу я пока перед ним на осиновом бревне.

Но всему свое время.

Зацветут по весне под его окнами черемуха, акация и рябина. Выпилим мы с дедушкой и наличники. Обнесем дом палисадом и обустроим мою светелку с балконом.

Затопит бабушка заново сложенную и побеленную печку. Заиграет на поленьях веселое пламя. Потянется из трубы разноцветный дымок и привяжет к высокому небу нашу светлую приземистую избу.

...А дед молодец! Обещал к осени срубить дом и к сентябрю поставил его.

Из дедова дома через неделю я пойду в Сумароковскую школу — в первый класс.

Пойду вместе с Колькой Осиповым и Ленкой Семичевой.

А к школе у меня уже все готово.

Даже куплены новые блестящие сапоги!..



СОДЕРЖАНИЕ

А. А. Грязев. Слово к читателю	6
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ	8
КОЛЬКА	15
ОВИН	21
ДЕД МИХАИЛ	27
БАБУШКА АННА	34
В ЗИМОВКЕ	42
ПЕЧКА	49
ПОСЕДКИ	55
ПОЖАР	61
МАРТ	67
МАСЛЕНИЦА	72
ЧУДО	77
ВОДОПОЛЬ	82
ПОДСНЕЖНИКИ	86
БАНЯ	91
СМЕРТЬ ПРАБАБУШКИ	95
ЛЕСНОЕ ЭХО	102
ПЛОТНИКИ	107
СТРАНА ЗАЛЕСЬЕ	113
ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ	117
СЕНОКОС	120
ГРОЗА	130
ПАСТУШНЯ	134
КИНОПЕРЕДВИЖКА	141
ЯРМАРКА	147
СВАДЬБА	156
ДОМ	163

Литературно-художественное издание

Владимир Валентинович Кудрявцев

ГРАД КИТЕЖ

ЛИРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
О ДЕТСТВЕ

Корректор — А. П. Смолин

Компьютерная верстка — С. Ш. Лихачева

Подписано в печать 20.07.2007. Формат 84х108^{1/32}.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman PS MT.

Усл. печ. л. 9,77. Уч. изд. л. 6. Заказ 1088.

Тираж 250.

Издательство «Книжное наследие»
Вологодской областной универсальной научной библиотеки,
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1.

Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф-Периодика».

160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

Тел.: (8172) 72-55-31, 72-61-75.

E-mail: form.pfp@votel.ru